PG3460
.D67
A15
1905

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA

ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3460
.D67
A15
1905

PG 3460
.I67
A75
1905

В. М. Дорошевичъ.

НОВЫЕ РАЗСКАЗЫ.

I. Нашествіе * * * * * * иноплеменниковъ.
II. Джентльмены * * *
III. Маленькіе люди. * *
IV. На Дальнемъ Востокѣ.

ИЗДАНІЕ 2-Е
ТОВАРИЩЕСТВА И. Д. СЫТИНА

Типографія Товарищества И. Д. Сытина, Пятницкая ул., свой домъ.
МОСКВА.— 1905.

Нашествіе инoплеменниковъ.

(страничка изъ русской исторіи.)

Посвящается гг. „смѣлымъ предпринимателямъ“.

I.

Благодѣтели своего отечества.

Еще какихъ-нибудь 6—7 лѣтъ тому назадъ вы могли видѣть ежедневно, въ самомъ центрѣ Парижа, на площади Оперы, за столиками Café de la Paix, — словно насѣвшихъ мухъ, — цѣлыми стаями россійскихъ предпріимчивыхъ людей, врозницу торговавшихъ своимъ отечествомъ.

Первое, что васъ поражало въ нихъ, — это:

— Какъ они швыряются городами!

Только въ острогѣ, вечеромъ, послѣ повѣрки, когда камеры заперты, скучно, тоскливо и въ полутьмѣ начинаются разсказы и воспоминанія,

въ разговорѣ у бродягъ можно услыхать о такомъ непостоянствѣ.

Чтобъ такъ швырялись мѣстностями.

— А! Иванъ Ивановичъ! Вы откуда?

— Два дня былъ въ Лондонѣ. А вы?

— Сегодня вечеромъ ѣду въ Брюссель. Завтра утромъ назадъ. Послѣзавтра въ Лондонъ, оттуда на два дня въ Петербургъ,— и сюда.

— Въ прошломъ мѣсяцѣ былъ четыре раза въ Петербургѣ, шесть—въ Лондонѣ и восемь—въ Брюсселѣ.

— Думаю на минутку въ Берлинъ проѣхать!

Отъ разговоровъ ихъ брала оторопь.

— Сегодня у меня рѣшительный разговоръ со здѣшними капиталистами. Такъ—такъ такъ, а тянутъ нечего. У меня группа бельгійцевъ есть. Просятся. 16 милліоновъ предлагаютъ. А у васъ?

— Моя, батенька, группа на мелкія дѣла не идетъ. Англичане! Шесть милліоновъ фунтовъ. Меньше не идутъ.

— Вамъ, собственно, большая группа нужна?

— Нѣтъ. Мнѣ немного. Такъ, милліона на два.

— Ну-у! Это и пачкаться не стоитъ! Затѣвать что-нибудь, такъ милліоновъ на двадцать!

— У меня группа капиталистовъ съ 28 милліонами.

— Моя группа милліоновъ на 50!

Мнѣ почему-то всегда вспоминалась при этихъ разговорахъ далекая юность.

Мы жили гдѣ-то на чердакѣ: я, прозаикъ, два поэта да еще одинъ молодой человѣкъ, не писавшій, но просто бѣжавтій отъ родителей.

Въ одной комнатѣ.

Все, что можно было заложить, было заложено. Квитанціи на заложенныя вещи — перезаложены. А квитанціи на перезаложенныя квитанціи — проданы.

Единственный предметъ роскоши, который оставался у насъ, — колода картъ.

Хотѣли и ее продать кухаркѣ.

Но въ колодѣ не хватило одной карты.

— Червенной десятки. Амурная постель! Какое жъ удовольствіе и гадать безъ этакой карты!

Кухарка не купила.

Съ утра кто-нибудь бралъ колоду.

— Ну, ставъ!

— Сколько тамъ за мной?

— Шесть милліоновъ восемьсотъ сорокъ двѣ тысячи пятьсотъ тридцать семь рублей. Будемъ считать для ровнаго счета семь. А то умноженье!

— На пе. Шестерка.

— Шестерка бита. За тобой четырнадцать милліоновъ.

— Валетъ. Уголъ.

— Битъ. 52 милліона.

— На пе.

Расплачиваясь послѣ милліонныхъ разговоровъ за выпитый кофе, одни платили сами и наличными деньгами.

Другіе говорили:

— Ну, сегодня вы за меня заплатите! Мѣнять не хочется.

Третьи конфиденціально подзывали гарсона:

— Запишете съ прежними. Сколько тамъ?

— Съ сегодняшнимъ будетъ 27 франковъ, monsieur!

— Считайте тридцать.

— Merçi, monsieur. Merçi bien, mon prince!

Что продавали изъ своего отечества эти люди «съ группами»?

Разное.

Концессію на постройку конно-желѣзной дороги, внезапно открытыя въ Тульской губерніи золотыя розсыпи, угольныя копи, желѣзную руду, подъѣздные пути съ правительственной гарантіей, великолѣпно оборудованные заводы, обезпеченные казенными заказами, необозримые лѣса.

Все.

Что только можно было продать въ отечествѣ своемъ.

Кому это принадлежало?

Только не имъ.

Всѣ эти земли, руды, лѣса, заводы принадлежали городамъ, крестьянскимъ обществамъ, другимъ частнымъ лицамъ.

Только не имъ.

Когда человѣкъ являлся продавать что-нибудь группѣ иностранныхъ капиталистовъ, на вопросъ:

— Кому это принадлежитъ?

Можно было смѣло отвѣтить:

— Кому угодно, кромѣ одного человѣка. Кромѣ него.

Кого, кого только не было въ этой предпріимчивой толпѣ, говорившей о милліонахъ и торговавшей своимъ отечествомъ?

Были люди съ звонкими именами, но были и съ такими, что по всѣмъ требованіямъ благопристойности давнымъ-давно слѣдовало бы хлопотать о перемѣнѣ фамиліи.

Были люди съ остатками знатности, но были и съ остатками хамства, и изъ одного хамства состоявшіе, хамы — sec.

Были такіе, которыхъ, несомнѣнно, вы видали раньше въ балетѣ, въ первыхъ рядахъ, горячо обсуждавшими въ антрактахъ.

— Трускина 3-я хорошо заноситъ. Но не тверда въ пируэтѣ!

Но были и такіе, глядя на которыхъ, вы долго думали:

— Гдѣ я это лицо видѣлъ?

Не то у Кюба за завтракомъ, не то на скамьѣ подсудимыхъ?

Лица неопредѣленныя. То, что называется:

— Корректныя.

И только.

Всѣ они имѣли одно общее.

Всѣ эти люди, продававшіе по частямъ свое отечество, были изъ Петербурга.

Впрочемъ, при взглядѣ на двоихъ, троихъ изъ нихъ, у меня, грѣшнымъ дѣломъ, мелькнула мысль:

— Кажется, я ихъ на Сахалинѣ видѣлъ!

По наведеннымъ справкамъ, впрочемъ, догадка оказалась преждевременной.

Еще не были.

Если бы кто-нибудь незамѣтно подошелъ къ такой компаніи людей, говорившихъ о вопросахъ «государственной важности», и врасплохъ крикнулъ бы:

— Прокуроръ!

Я увѣренъ, что девять десятыхъ этихъ господъ моментально спрятались бы подъ столъ. Инстинктивно.

Черезъ минуту они, конечно, съ достоинствомъ бы вышли изъ-подъ стола и сказали:

— Какъ глупо такъ шутить! Мы думали пожаръ!

II.

Герой.

Одинъ изъ этой стаи славныхъ малыхъ преимущественно предъ всѣми привлекъ, приковалъ мое вниманіе.

Это былъ высокій, жигулястый малый, съ безпокойными глазами.

Глаза его постоянно бѣгали по всѣмъ предметамъ вокругъ, даже по стаканамъ, — ну, что стаканъ можетъ стоить? — и мягко и съ теплотою останавливались на серебряныхъ ложкахъ.

Его глаза бѣгали по цѣпочкамъ, по булавкамъ, по пальцамъ рукъ у собесѣдниковъ, словно отыскивали перстни.

И когда вы при немъ вынимали не только золотой, но даже серебряный портсигаръ, вамъ становилось какъ-то неловко.

Вы видѣли, что онъ устремленными глазами взвѣшивалъ вашъ портсигаръ, бралъ его, въ душѣ уже шелъ въ ссудную кассу, закладывалъ...

Такой это былъ предпрïимчивый человѣкъ!

Съ бумажникомъ, съ деньгами, даже съ самыми незначительными, съ нимъ было жутко разговаривать.

У него сверкали прямо какïе-то рентгеновскïе лучи изъ глазъ.

Вы чувствовали, что сквозь сукно, подкладку, кожу онъ пересчитываетъ деньги въ вашемъ бумажникѣ.

И вамъ становилось даже щекотно. Ну, прямо трогаетъ у васъ въ лѣвомъ боку.

Не знаю, какъ другïе.

Но мнѣ, когда приближался этотъ господинъ, всегда казалось, что послѣдняя стофранковая бумажка свертывается у меня въ карманѣ, какъ береста на огнѣ.

Такъ предпрïимчивъ былъ его взглядъ.

Когда я увидалъ его въ первый разъ,—на меня вдругъ нахлынули воспоминанïя.

Огромные, развѣсистые платаны Капуцинскаго бульвара вдругъ почему-то съежились и превратились въ мелкïя колючïя ели.

Запахло вереском.

Тайга...

Шумъ экипажей, голосовъ смолкъ. Мертвая, мертвая тишина...

Только дятелъ гдѣ-то стучитъ.

Стукъ... стукъ...

Словно гробъ заколачиваютъ.

Отъ компаніи предпріимчивыхъ людей съ «группами» вдругъ лязгнулъ стукъ кандаловъ.

(Они просто разсчитывались съ гарсономъ и звякали франками).

И затерянная въ тайгѣ Онорская тюрьма.

У отворенныхъ дверей канцеляріи — скамья, на которой порютъ арестантовъ — «кобыла». Палачъ и длинныя, какъ удочки, розги.

За столомъ канцеляріи смотритель и докторъ.

— Бродяга Иванъ Непомнящій!

Къ столу подходитъ вотъ этотъ самый молодой человѣкъ съ безпокойными глазами, полураздѣтый.

Глаза бѣгаютъ вокругъ, съ предмета на предметъ, и кажется, ужъ тащатъ со стола чернильницу.

— Подвергался тѣлеснымъ наказаніямъ?

— Никакъ нѣтъ, ваше высокобродіе!

— Карповъ, потри.

Надзиратель Карповъ беретъ суконку и третъ Непомнящему спину.

— Пробовалъ! — усмѣхается надзиратель.

Мы глядимъ.

На покраснѣвшей спинѣ вдоль, поперекъ, крестъ-накрестъ бѣлыя полоски, — слѣды «заданныхъ» розогъ.

— Обывалый. Иди, ложись!

Я зажмуриваю глаза. Противный, ужасный свистъ розги, разсѣкающей воздухъ.

— Позвольте васъ...

Молодой человѣкъ съ безпокойными глазами шелъ на меня съ моимъ знакомымъ.

Онъ улыбался мнѣ.

Узналъ?

Я готовъ былъ кинуться къ нему, схватить его за руку.

— Удалось? Бѣжали? Освободились изъ того ада? Поздравляю! Какъ я счастливъ видѣть васъ здѣсь, среди жизни! Вѣдь это воскресенïе! Настоящее воскресенïе изъ мертвыхъ!

Но мой знакомый успѣлъ отрекомендовать:

— Позвольте васъ познакомить. Г. Каталажкинъ, извѣстный предприниматель!

Какïя, однако, бываютъ сходства!

А онъ стоялъ передо мной, улыбающïйся!

Сквозь карманъ считалъ взглядомъ деньги въ моемъ бумажникѣ, шарилъ мелочь въ моемъ кошелькѣ. Посмотрѣлъ (такъ мнѣ показалось), который часъ на моихъ часахъ.

И улыбнулся еще разъ, успокоительно.

Словно хотѣлъ сказать:

— Немного! Но не трону!

Обрадованный, я спросилъ почти съ умиленіемъ:

— Устраиваете большое предпріятіе?

Онъ отвѣчалъ голосомъ, полнымъ достоинства и снисходительности:

— Рудное дѣло и устройство подъѣзднаго пути. Кончаю съ группой изъ французскихъ и бельгійскихъ капиталистовъ.

— Милліонное дѣло?

— Тридцать четыре.

Онъ сказалъ это удивительно просто.

Почти до очаровательности.

III.

Неключительная страна.

Возлѣ биржи, въ одномъ изъ шикарнѣйшихъ ресторановъ, гдѣ ѣстъ солидный и дѣловой людъ, въ кабинетѣ сидѣла за завтракомъ «группа» капиталистовъ.

Французы и бельгійцы.

Съ биржи,—какъ это всегда бываетъ на парижской биржѣ,—неслись шумъ, гамъ, крики,—казалось, вопли. Словно тамъ, дѣйствительно,

грабили, душили, рѣзали, снимали рубаху другъ съ друга.

За завтракомъ, подъ такой странный аккомпанементъ, было оживленно.

Французы и бельгійцы жрали.

Жрали устрицы, жрали столовыми ложками зернистую икру,—нынче зернистую икру столовыми ложками только и жрутъ, что въ Парижѣ,—жрали филейчики соли въ бѣломъ винѣ съ креветками, съ мулями, съ шампиньонами, трюфелями, жрали истекающій кровью шатобріанъ съ дутымъ, розовымъ, пухлымъ картофелемъ, сыры, землянику.

— Позволите соуса беарнезъ?

— Хорошо ли это для желудка?

— Превосходно.

— Здѣсь хорошо ѣдятъ!

— Каждый день здѣсь завтракаю. Желудокъ работаетъ идеально.

— Краснаго вина для желудка.

— Благодарю. Я бѣлаго. Это прочищаетъ.

— Земляники! Ускоряетъ пищевареніе.

— Рокфору?

— Боюсь, тяжело. Для моего желудка бри.

Они жрали, словно протапливали машины.

И на этотъ жирный, гладкій, лоснящійся народъ жутко было смотрѣть.

Все равно, что въ паровозномъ дело ходитъ мимо паровозовъ.

Казалось, вотъ сейчасъ эти огромныя машины протопятся, разведутъ пары, свистнутъ, наѣдутъ — и останется отъ тебя одинъ брызгъ.

Было въ нихъ что-то угрожающее.

Даже глаза горѣли, какъ ночью фонари на курьерскомъ паровозѣ.

Г. Каталажкинъ сидѣлъ среди нихъ веселый, радостный, возбужденный.

Онъ сыпалъ отвѣтами во всѣ стороны.

На него глядѣли со всѣхъ сторонъ пристально, въ упоръ, въ него впивались глазами.

Другой бы здохъ подъ такими взглядами.

Во всякомъ пристальномъ взгляде читалось:

— Жуликъ ты или не жуликъ? Скажи по-совѣсти!

А онъ вертѣлся на мѣстѣ, радостно поворачивался къ тому, кто его спрашивалъ, весело улыбался и, не успѣвали задать вопросъ, посылалъ отвѣтъ.

Такъ посланный съ порученіемъ лихой охотникъ-казакъ, вырвавшись за линію, крутится и вьется на быстромъ скакунѣ подъ выстрѣлами непріятельскихъ батарей.

Его замѣтили, по немъ цѣлятъ; направо, налѣво съ визгомъ шлепаются гранаты.

А онъ, пьяный отъ своей удали, гарцуетъ, крутится, дразнитъ.

И съдой есаулъ издали, глядя въ бинокль на удальца, и любуется имъ и бранитъ, приговаривая при каждой шлепнувшейся гранатѣ:

— Ахъ, подлецъ!.. Вотъ, подлецъ!..

Г. Каталажкинъ сыпалъ отвѣтами.

И все выходило у него просто, какъ палецъ, ясно, какъ день.

— Земля? Чья земля? Конечно, не моя, mon cher monsieur!

Онъ разражался хохотомъ, всѣхъ заражавшимъ.

— Земля разныхъ владѣльцевъ. Частныхъ лицъ, городовъ... Какъ достать? А принудительное отчужденіе?!

И снова разражался всѣхъ заражавшимъ хохотомъ.

— Почемъ сдадутъ крестьяне руду? По скольку хотите! По сколь-ку *вы* хо-ти-те! Что хотите, то дадите!

— Какъ? У нихъ есть «міръ». Община! Коммуна! Ха-ха-ха!

Онъ снова гремѣлъ хохотомъ, такъ странно сливавшимся съ криками, воплями, доносившимися съ биржи.

— Два ведра водки, — пишутъ приговоръ, какой хотите!

И онъ восторженно, почти вдохновенно воскликнулъ:

— Вотъ куда вы идете, messieurs!!!

И мнѣ казалось, что я не въ 1897 году сижу и не въ Парижѣ.

Что теперь 862 годъ.

И что кругомъ не группа французскихъ и бельгійскихъ капиталистовъ, а сидятъ варяжскіе князья.

И передъ ними куражится бойкій выпившій новгородецъ-посолъ.

И похохатываетъ:

— Земля-съ велика-съ и обильна-съ, а порядку въ ней нѣту-съ! Хе-хе!

И бьетъ объ полъ шапкой:

— Приходите и володѣйте! Одно слово!

Но какъ ни пьянъ, — добавляетъ:

— Только, ваше высокоблагородіе...

Я увѣренъ, что русскій человѣкъ тогда и изобрѣлъ:

— Ваше высокоблагородіе!

Какъ же иначе было звать начальство?

— Только, ваше высокоблагородіе, меня при семъ не забудьте. Будьте настолько милостивые!

Подали кофе и ликеры. И только тогда кто-то изъ капиталистовъ вспомнилъ спросить:

— А законы?

— Законы?!

Лицо г. Каталажкина сдѣлалось даже сверхъестественно нагло.

Какъ ни капитальны были люди, сидѣвшіе за столомъ, но г. Каталажкинъ обвелъ ихъ прямо безстыдно удивленнымъ взглядомъ.

Словно хотѣлъ воскликнуть:

— Ну, и къ дуракамъ же я попалъ!

— Законы!—удрученно и со вздохомъ повторилъ капиталистъ.

— Законы?

Г. Каталажкинъ прищурился.

— Вы, monsieur, меня видите?

— Вижу!—съ удивленіемъ отвѣчалъ капиталистъ.

— Ну, такъ вотъ!

Г. Каталажкинъ помолчалъ секунду и докончилъ просто и спокойно:

— Ни разу въ жизни по закону не поступилъ и ни разу въ жизни со мной по закону поступлено не было!

Всѣ не захохотали, а загрохотали. А мнѣ вдругъ опять вспомнилась Онорская тюрьма...

Надзиратель Карповъ потеръ бродягѣ Непомнящему суконкой спину:

— «Пробовалъ!..»

Г. Каталажкинъ снисходительно посмотрѣлъ на капиталиста, сомнѣвавшагося насчетъ законовъ.

Впрочемъ, и тотъ теперь имѣлъ видъ сконфуженный:

— Ловко ли? При русскомъ человѣкѣ такой разговоръ завелъ?

И только такъ, для очистки совѣсти, пробурчалъ:

— Но вѣдь у васъ есть законы?

— Есть! — отвѣчалъ г. Каталажкинъ твердо и непоколебимо. — Есть!

И, обведя присутствующихъ торжествующимъ взглядомъ, продолжалъ:

— Но что есть законы? Законы суть острые и непріятные колючіе шипы, среди которыхъ расцвѣтаютъ благоухающія розы — исключенія!

— Monsieur Каталажкинъ! Вамъ какого ликера прикажете?—почти подобострастно предложилъ одинъ изъ капиталистовъ.

— Зеленаго шартреза. Законъ, messieur, это отличительный огонь, это бакенъ, это маякъ, поставленный на опасномъ мѣстѣ! Онъ предупреждаетъ! Онъ говоритъ смѣло идущему мореплавателю: «Здѣсь мель. Здѣсь каменъ! Не лѣзь! Расшибешься! Не иди прямо, а юркни въ исключенье. Обойди!»

— Messieurs! Здоровье monsieur Каталажкина!— въ восторгѣ воскликнулъ капиталистъ, сомнѣвавшійся, было, насчетъ законовъ.

Онъ задыхался, онъ захлебывался:

— Здоровье, здоровье monsieur Каталажкина.

Всѣ чокнулись и посмотрѣли на него съ сожалѣніемъ:

— А ты давеча этакое вдругъ сморозилъ? А!

Г. Каталажкинъ наглѣлъ съ секунды на секунду.

— Merçi, господа! — величественно кинулъ онъ. — Простите меня, но, идя къ намъ, вы кажетесь мнѣ дѣтьми! Вы—настоящія дѣти! Которымъ нянька наговорила: «Городовой! Городовой! Вотъ придетъ городовой и посадитъ тебя въ мѣшокъ!» И вы представляете себѣ городового, мирнаго городового, въ видѣ какого-то чудовища! «У-у-у!..» Ха-ха-ха!

Всѣ смѣялись съ виноватымъ видомъ:

— Дѣйствительно, молъ, маху дали!

— Законы есть вездѣ. У васъ и у насъ. Но что такое вашъ законъ? Что-то въ родѣ англійскаго полисмена. Стоитъ этакая дубина посреди самой бойкой улицы въ Сити. По улицѣ мчатся туда, назадъ. Мчится финансистъ, у котораго огромное предпріятіе. Каждая минута можетъ

стоитъ милліоны. Мчится докторъ оказывать помощь смертельно больному. Секунда можетъ стоить человѣческой жизни. Мчится кредиторъ за убѣгающимъ должникомъ. Мчится супруга важнаго лица по визитамъ. Чортъ меня возьми, если я знаю, кто тамъ еще и зачѣмъ мчится! А онъ, дубина-полисменъ, поднялъ бѣлую палку, — и движенїе вмигъ остановилось. Жизнь мгновенно прекратилась. И хоть ты тамъ что! Пустъ рушатся предпрїятїя, умираютъ тяжко больные, движенїе не возобновится, пока полисменъ въ синемъ шлемѣ не опуститъ своей бѣлой палочки. Тфу! У насъ законъ — мягкій, вѣжливый, предупредительный городовой. Онъ тоже поднимаетъ руку (палочки у него нѣтъ). Онъ тоже поднимаетъ руку,— и движенїе прїостанавливается. Онъ крикнулъ: «Стой!»—но онъ любезнымъ взглядомъ обводитъ толпу и умѣетъ различать. «Стой!»

— «А вы, ваше превосходительство, извольте проѣхать! Кучеръ ея превосходительства можетъ проѣхать!»

— «Ваше выскородїе, — говоритъ онъ финансисту,— изволите торопиться по дѣламъ? Пожалуйте, проѣзжайте!»

— «Кучеръ его выскобродїя, впередъ!» А остающимся онъ грозно кричитъ:

— «Стой! У ихъ выскородія такія дѣла, какія вамъ и въ лобъ-то не влетятъ! Имъ надотъ»!

«Онъ отличилъ уже и кредитора, гонящагося за должникомъ.

— «Ради Бога, голубчикъ! Вотъ сейчасъ хватитъ въ боковой переулокъ, — ищи-свищи его потомъ! Случай такой экстренный!»

— «По случаю экстреннаго случая можете проѣхать!

«И снова кричитъ онъ грозно остальнымъ:

— «Стой! Они не въ очередь!

«Докторъ обращается:

— «Больной можетъ умереть...

— «Ежели больной... Извозчикъ, можешь проѣхать. Пожалуйте!»

Г. Каталажкинъ лукаво прищурилъ глаза и подперъ руками бока.

— Кто же вамъ мѣшаетъ сказать, что вы тоже докторъ, и будто васъ ждетъ умирающій больной? Сказали,—и васъ пропустятъ. Въ видѣ исключенія!

Я былъ на юбилеѣ Сары Бернаръ. Такихъ овацій Сара Бернаръ не видѣла.

Всѣ повскакали съ мѣстъ.

Лица капиталистовъ сверкали теперь восторгомъ.

Видимо, всякій изъ нихъ рѣшилъ «выдать себя за доктора».

А г. Каталажкинъ гремѣлъ среди нихъ теперь вдохновенно, какъ поэтъ, какъ пророкъ.

— Законъ—неподвижный. Законъ — окаменѣлость. Законъ—гранитъ. Законъ—препятствіе, законъ, о который только и можно, что разбить себѣ голову. Нѣтъ, этого закона я не понимаю. Такого, messieurs, вы у насъ не найдете! Законъ мягкій, гибкій, эластичный, законъ—пухъ! Законъ, на которомъ можно спать! Вотъ то, что надо. Вотъ то, что вы найдете! И если мрачно, грозно, зловѣще звучитъ предпріимчивому человѣку это непріятное слово: «законъ!»—то какъ мягко, нѣжно, деликатно, какой чарующей мелодіей звучитъ: «исключеніе!» Пѣснь соловья и запахъ лилій въ этомъ словѣ! Если слово «законъ» звучитъ какъ «de profundis», какъ «со святыми упокой» смѣлымъ и предпріимчивымъ планамъ, мечтамъ,— то какой пѣснью надежды, бодрящей радости звучитъ это нѣжное, это сладкое слово: «исключеніе». Повиноваться законамъ и только однимъ законамъ. Не видѣть вокругъ себя ничего, кромѣ законовъ. Какая суровая доля! Это все равно, что управлять побѣдителями, грозными, суровыми, непреклонными. Тогда какъ управлять исключеніями, мягкими, гибкими,

податливыми... это... это—жить среди друзей. Среди друзей, готовыхъ на всякую уступку, полныхъ снисходительности, желанья быть вамъ пріятными, полезными. О, зачѣмъ вы, иностранцы, не знаете насъ? О, зачѣмъ вы задаете такіе вопросы?!—взвылъ вдругъ почему-то г. Каталажкинъ.

Капиталистъ, сомнѣвавшійся было насчетъ законовъ, вскочилъ покраснѣвшій, растерянный, уничтоженный, чуть ли не со слезами, кажется, на глазахъ.

— О, простите, cher monsieur! О, простите! Это, право, недоразумѣніе! Я и самъ теперь вижу, что сказалъ глупость! Не сердитесь!

Г. Каталажкинъ, въ знакъ прощенія, мимоходомъ подалъ ему лѣвую руку и продолжалъ:

— У насъ законъ родится уже съ исключеніями, какъ женщина со всѣми своими прелестями.

Кто-то даже «сладкострастно» зааплодировалъ.

— Въ законѣ, напримѣръ, сказано: «Такую-то должность можетъ занимать только лицо съ университетскимъ образованіемъ. Опредѣленно и безапелляціонно. «Только». Но сейчасъ же добавлено примѣчаніе: «Въ видѣ исключенія, однако, мѣсто это можетъ занимать и лицо, получив-

шее достаточное, хотя бы и домашнее только образованіе!» За исключеніе, господа!

— Гарсонъ, шампанскаго!

Кажется, даже цѣловались.

Когда звонъ бокаловъ смолкъ, г. Каталажкинъ продолжалъ растроганнымъ голосомъ:

— За исключенія, которыя смягчаютъ острые углы законовъ. «Въ видѣ исключенія въ интересахъ общественной пользы». «Въ видѣ исключенія въ интересахъ высшихъ соображеній». «Въ видѣ исключенія въ виду усиленныхъ ходатайствъ». Какое поле, какой просторъ для предпріимчивыхъ умовъ, для смѣлости, для геніальности! Для дѣятельности, для широкой, для безбрежной дѣятельности, господа!

И словно пораженный открывавшимися перспективами, г. Каталажкинъ въ какомъ-то изнеможеніи упалъ въ кресло, и выпавшій, какъ у Толстовской «Грѣшницы», изъ его руки бокалъ со звономъ покатился по полу.

Всѣ кругомъ были столь возбуждены, что дѣлалось даже страшно.

Казалось, что сейчасъ кого-нибудь разорвутъ въ клочья.

Такая вдругъ проснулась предпріимчивость.

Ужъ и воплей и криковъ биржи не стало слышно. Всѣ говорили разомъ, жестикулиро-

вали, захлебывались, радостно и страшно гоготали.

Они уже дѣлили, рвали на куски районъ, куда звалъ ихъ г. Каталажкинъ.

— Принудительное отчужденіе!

— И у частныхъ лицъ, и у городовъ!

— А кто не согласится, тѣхъ въ Сибирь!— воскликнулъ даже кто-то въ поэтическомъ порывѣ.

— Землю у крестьянъ за сотую копейки съ пуда руды!

— Нѣтъ-съ, за двухсотую!

— За трехсотую!

— Два ведра водки въ нихъ влить, чтобъ подписывали соглашенье!

— Даже три!

— Четыре вкатить въ каналій!

— А кто не будетъ пить водки, тѣхъ въ Сибирь!—опять воскликнулъ кто-то въ поэтическомъ восторгѣ.

Французскіе и бельгійскіе капиталисты кидались среди этихъ восторговъ къ намъ, русскимъ, и до боли жали намъ руки:

— О, ваша страна имѣетъ будущее! Съ такимъ просторомъ для иниціативы! Мы къ вамъ придемъ! Мы къ вамъ придемъ! Исключительная страна! Страна исключеній!

Такъ что въ концѣ концовъ явился со сконфуженнымъ видомъ хозяинъ ресторана:

— Извините, messieurs, я, конечно, понимаю вашу радость. Но въ сосѣднихъ кабинетахъ пугаются!

Мы выходили съ этого пиршества съ г. Каталажкинымъ вмѣстѣ.

Онъ имѣлъ видъ упоенный, но и утомленный.

И сказалъ только:

— Видѣли?

Я почти съ ужасомъ какимъ-то, самъ не знаю, почему, воскликнулъ:

— Видѣлъ. Слышалъ. Въ изумленіи. Не знаю, какъ даже васъ вознаградить. Развѣ только откровенностью. Послушайте, Каталажкинъ Вѣдь вы врали?!

Г. Каталажкинъ посмотрѣлъ на меня прямо и ясно:

— Вралъ.

Онъ полюбовался, кажется, моимъ изумленіемъ и повторилъ такъ же просто, такъ же спокойно, такъ же ясно:

— Вралъ. Но вы думаете, на другое они пойдутъ?

И вдругъ съ какимъ-то неожиданнымъ порывомъ онъ воскликнулъ, чуть не заскрежетавъ зубами:

— Они бы всю Русь, и съ потрохами, съ потрохами, что въ землѣ, слопали. Да врутъ! Врутъ! Сначала я ихъ проглочу и выплюну!

Онъ успокоился и кончилъ съ гордостью, ударивъ себя въ грудь:

— Потому что я патріотъ!

Не знаю, почему, но въ эту минуту мнѣ снова вдругъ неудержимо захотѣлось его спросить:

— Скажите, не видалъ ли я васъ въ Онорской тюрьмѣ?

IV.

Подозрительная личность.

Со времени завтрака, за которымъ г. Каталажкинъ продавалъ свое отечество, прошло нѣсколько дней.

Однажды утромъ ко мнѣ явился мой пріятель, южанинъ-помѣщикъ Петръ Семеновичъ Тюбейниковъ.

Блѣдный, разстроенный, убитый.

Тюбейниковъ былъ тоже «предприниматель».

Но земля, которую онъ собирался эксплуатировать, принадлежала ему. Обстоятельство не только странное, но даже невѣроятное!

Въ его землѣ, дѣйствительно, нашлась какая-то руда. Въ тѣ времена тоже рѣдкость!

Тюбейниковъ попробовалъ было заинтересовать россійскихъ капиталистовъ,—ничего не вышло. Плюнулъ и махнулъ въ Парижъ.

— Звать иноплеменниковъ.

Мы встрѣчались въ Парижѣ нѣсколько разъ.

Тюбейниковъ ходилъ весело, потиралъ руки:

— На мази! Идетъ! Устраивается!

И вдругъ явился съ помутившимся взглядомъ, убитый, уничтоженный. Человѣка всего перевернуло.

— Что съ тобой? Нездоровъ?

Тюбейниковъ взглянулъ со скорбью и отчаянїемъ:

— Все погибло! Все вдребезги! Ничего нѣтъ! Убитъ и ошельмованъ!

— Ну, ужъ и ошельмованъ? Кѣмъ? Какъ? За что?

Тюбейниковъ развелъ руками:

— За что,—не знаю. Но ошельмованъ. Оно, положимъ, махну я къ себѣ въ губернїю,—мнѣ на всѣхъ этихъ поганцевъ-французишекъ пле-

ватъ! Смѣшно даже будетъ вспомнитъ!.. Эхъ, деревня!

У Тюбейникова чутъ не слезы навернулись на глазахъ?

— Усадьба у меня на горкѣ. Глянешь,—и передъ глазами степь. Какъ море степь! Съ горизонтомъ сливается степь! Всю Европу бы твою подлую въ этой степи утопилъ. Приди только! Теперь вся степь цвѣтетъ, и по ней зигзагами, вавилонами, выкрутасами блеститъ и сверкаетъ на солнцѣ рѣка. Пахнетъ со степи вѣтромъ, — опьянѣешь. Теплomъ и цвѣтами. Э-эхъ!

Тюбейниковъ уронилъ голову на руки.

— А ты иноземцевъ, братъ, на эту степь зовешь!

— Гнусно! Гнусно, братъ! — завылъ Тюбейниковъ. — Представитъ не можешь, какъ гнусно! Расхваливаешь имъ наши мѣста, словно родную сестру или жену съ кѣмъ устраиваешь. Тфу! Ровно говоришь: «Жена у меня, знаете, очень красива и сложенія, знаете, изумительнаго. Не угодно ли поухаживать»? Тфу! Тфу! За это, можетъ, мнѣ и наказаніе, ошельмовали! Ошельмовали вконецъ! Извѣстно, мнѣ потомъ плевать на нихъ, но теперь бы хотъ въ морду дать... Все бы легче!

— Ну, морда-то, братъ, въ Вержболовѣ осталась. Съ Эйдкунена ужъ лицо пошло.

— Да и кому рыло бить—неизвѣстно.

— Дѣло-то въ чемъ? Дѣло?

Тюбейниковъ вздохнулъ:

— Дѣло въ томъ, что надо, неизвѣстно за что, оплеваннымъ къ себѣ ѣхать. Ты мое это самое «предпріятіе»,—будь оно трижды проклято!—знаешь. Нашлась руда. Нынче всѣ на рудѣ помѣшаны. «Милліоны въ землѣ!» Произвелъ изысканіе. Дѣло, дѣйствительно, богатѣйшее. У меня, братъ, все какъ должно, безъ обмана. Самъ влетать не хочу и другихъ втравливать. Переговорилъ съ крестьянами. Согласны и свои земли пустить. Довѣренность мнѣ дали. Махнулъ въ столицы. Капиталистовъ заинтересовывать. Пріѣхалъ къ одному. Человѣкъ молодой, отзывчивый. Кембриджскій университетъ, что ли, тамъ, кончилъ. Въ разныхъ обществахъ такія рѣчи о русской самодѣятельности произноситъ,—страсть. Журналы философскіе субсидируетъ. Выслушалъ.

«— Тэкъ-съ! — говоритъ. — Только вы не туды-съ! Намъ мятенька мануфактурное дѣло оставили. Дѣло природное-съ наше. Оно насъ и кормитъ. А окромя своего природнаго дѣла, я только философію и признаю-съ!

— Этакая животина! Кембриджскій университетъ кончилъ, а «окромя» говоритъ. Да еще съ хвастовствомъ какимъ-то:

«— Вотъ, молъ, какъ у насъ. Купцы природные, хоша и въ англійскомъ университетѣ баловались!»

«— Ежели бы,—говоритъ,—вы, напримѣръ, философскій журналъ для разработки ученія господина Ницше, али газету съ истинно россійскимъ направленіемъ,—чтобы, значитъ, всяческая поддержка россійской промышленности,—тогда мы согласны заинтересоваться. А руда. Что-съ руда!»

— Да вѣдь, говорю, россійская самодѣятельность!

«— Россійская, — отвѣчаетъ, — самодѣятельность ни отъ чего другого, какъ единственно отъ таможенныхъ пошлинъ, расцвѣсть можетъ. Обложите пошлиной иностранный товаръ, и всякая самодѣятельность процвѣтетъ! Мы о самодѣятельности больше съ этой самой точки! Потому у насъ мануфактурное дѣло. Отъ иностранной конкуренціи потерять можетъ.

Плюнулъ и поѣхалъ къ старику одному. Просвѣщенный такой старикъ, меценатъ. Выслушалъ меня внимательно, одобрилъ:

«— Это ты, — говоритъ, — двиствительно, вѣрно! А только вотъ что я тебѣ скажу: изо

всѣхъ, братъ, залежей, какія только есть на свѣтѣ,—самыя вѣрныя,это—залежи процентныхъ бумагъ. Ежели въ несгораемыхъ шкапахъ! Чудесно! Лежитъ,—а на ней самъ собой купонъ растетъ. Умилительно! Чисто на цвѣточномъ кусту почка. Зрѣетъ и наливается. А поспѣлъ,—срѣжь. Вотъ это, братъ, руда!»

Плюнулъ и въ Петербургъ махнулъ. Тамъ меня и обучили:

«— По вашему дѣлу надо ѣхать въ Парижъ. Обратитесь къ капиталисту такому-то. Онъ живо вамъ группу составитъ».

Пріѣзжаю. Отправился къ капиталисту. Приказали черезъ недѣлю, во вторникъ, въ 8 часовъ 12 минутъ утра прійти. Чисто Наполеонъ! Тфу!

Секретарь говоритъ:

«— Только не опаздывайте. А то вы, русскіе, всегда съ опозданіемъ являетесь. Со временемъ, messieurs, распоряжаться не умѣете. Словно у васъ, у русскихъ, 48 часовъ въ сутки.

Пришелъ черезъ недѣлю, въ 8 часовъ 11 минутъ. Черезъ минуту выходитъ «самъ», патронъ. Толстая такая скотина. Кивнулъ, руки не подалъ, сѣсть не пригласилъ.

«— Изложите, — говоритъ, — вкратцѣ. А то вы, русскіе, разсказывать не умѣете, отъ Адама начинаете».

Тфу! Изложилъ. Услыхалъ «руда», сталъ внимательнѣе.

— Документы,—спрашиваетъ,—есть? Пояснительная записка?»

— Вотъ!

«— Оставьте. Отвѣтъ на домъ получите. Да только не забудьте адресъ приложить. Не русскій-съ, не русскій-съ, а парижскій, здѣшній! Гдѣ остановились, а то вы, русскіе...»

До того онъ, братъ, меня этимъ «вы русскіе» допекъ, что я даже конфузиться началъ. Словно какое преступленіе. Тфу!

«— А то,—говоритъ,—вы, русскіе, даже въ письмахъ адресъ свой написать забываете. Куда вамъ, русскимъ, отвѣчать даже не знаешь».

Кивнулъ и повернулся.

Пошелъ я домой. Только не прошло трехъ дней,—записка. Отъ секретаря:

«— Monsieur васъ будетъ ожидать завтра, такого-то числа, въ 7 часовъ 18 минутъ утра. Примите увѣреніе»...

Явился, братъ, въ 7 часовъ 15 минутъ. Черезъ три минуты выходитъ. Улыбка до ушей и прямо мою руку въ обѣ руки схватилъ. Схватилъ и не выпускаетъ. Руки такія мягкія, но цѣпкія. Видимо, что бы въ руки ни взялъ, выпустить не любитъ. Держитъ, жметъ и грѣетъ.

А въ глаза какъ влюбленный смотритъ, и зубы оскалилъ:

«— Ахъ, monsieur,—говоритъ, — въ кабинетъ пожалуйте!..»

И въ кабинетъ ввелъ. Кабинетъ—головокруженïе. Бронза, мраморъ. Картины изъ Салона. Прямо, «просвѣщенный другъ искусствъ». Во весь ростъ портретъ работы Бенжаменъ Констана. Во всей его натуральной мерзости патрона изобразилъ. Шкапы, золотые переплеты такъ и горятъ. Словно не книгами, а золотомъ полка уставлена. И на видномъ мѣстѣ, на столикѣ, романъ Поля Буржэ кинутъ. Раскрытъ, и на заглавной страницѣ крупными буквами: «Моему другу на добрую память отъ автора». Чай, самъ написалъ!

Вынимаетъ сигару:

«— Вы курите?»

Я сигаръ не курю. Особенно утромъ.

— Курю!—говорю.

— Нѣтъ, объясни ты мнѣ, на кой чортъ мы передъ этими иностранными капиталистами такъ подличаемъ?

— Вѣдь не дастъ онъ за это денегъ?

— Навѣрное, не дастъ.

— И я знаю, что не дастъ. Зачѣмъ же мы такъ подличаемъ?

— Не знаю.

— И я не знаю. Давлюсь, тошнитъ, а курю. Нельзя! «Сигара капиталиста!» А онъ сидитъ этакъ въ креслѣ, пузо выкатилъ, на меня вытаращенными рачьими глазами покровительственно смотритъ, словно на идіота, которому сказать хотятъ:

«— А ты, душенька, оказывается, не совсѣмъ ужъ идіотъ! Не ожидалъ! Не отчаивайся!»

Смотритъ на меня, скотъ, улыбается:

«— А у васъ,—говоритъ,—всѣ смѣты, вычисленія хорошо сдѣланы. Совсѣмъ хорошо. Вы, русскіе, обыкновенно этого не умѣете. Совсѣмъ, совсѣмъ не умѣете. У васъ, у русскихъ, мечты. Гдѣ нужны цифры—мечты! Вы, русскіе, совсѣмъ не способны къ цифрамъ, къ положительному, къ точному».

Зло меня взяло.

— Постойте же,—думаю,—я тебя!..

И пошелъ и пошелъ. Дѣло излагаю, какъ въ государственномъ совѣтѣ. Самъ себя слушаю! Книгу писать! Стенографу за мной записывать!

У капиталиста даже сигара потухла. Такъ забрало. Заинтересовался такъ, что даже страшно.

«— Дѣло золотое!—говоритъ.—Золотое дѣло! Мы съ удовольствіемъ пойдемъ. Я и моя

группа. Вамъ надо еще вотъ съ кѣмъ повидаться, вотъ съ кѣмъ. Все наши, наши группы. Капитализируемъ охотно. Если вамъ удастся ихъ такъ заинтересовать, какъ меня. Да я не сомнѣваюсь».

А на меня ужъ восторгъ какой-то нашелъ. Чувствую, что несу. Какъ лошадь несу.

«— Проняло,—думаю,—французскую шельму! Будешь говорить: «вы русскіе»...

Подлое этакое чувство въ душѣ взыграло. Словно всю жизнь въ лакеяхъ служилъ! Хочу себя передъ капиталистомъ съ самой лучшей стороны аттестовать. Хочу,—да и все.

«— Покажу, молъ, тебѣ, что не съ прощалыгой какимъ разговариваешь!»

— Теперь-съ,—говорю,—когда экономическая сторона предпріятія выяснена,—позвольте мнѣ перейти къ юридической!

Капиталистъ взглянулъ на меня этакъ, слегка съ удивленіемъ.

«— Переходите, — говоритъ, — если вамъ угодно!»

«Ага, — думаю, — забрало! Я тебѣ, братъ, сейчасъ обосную!»

И пошелъ!

— Осуществленіе,— говорю, — предпріятія ни въ коемъ случаѣ заторможено быть не можетъ,

и никакихъ препятствій встрѣтитъ не должно. Ибо! Ибо во всѣхъ своихъ частяхъ оно вполнѣ согласно съ существующими на этотъ счетъ законоположеніями. Законъ такой-то, законъ такой-то, законъ такой-то...

Только, братъ, замѣчаю я что-то странное. Доселѣ пылавшіе глаза его вдругъ стали гаснуть, меркнуть, покрываться какъ будто пепломъ. Улыбающееся лицо стало окисляться. Принимать оттѣнокъ скуки.

А я-то:

— Законъ такой-то гласитъ. Законъ такой-то...

Капиталистъ сначала зѣвнулъ. Затѣмъ въ глазахъ его отразилось нѣкоторое недоумѣніе, потомъ недовѣріе. Потомъ страхъ.

Онъ даже съ испугомъ взглянулъ на костяной ножъ, который я, увлекшись, вертѣлъ въ рукахъ.

Словно хотѣлъ сказать:

«— Лучше положи. Забудешься и возьмешь!»

Такъ что я даже сконфузился и—подлецъ!—отложилъ ножикъ.

И когда я сказалъ:

— Такъ что предпріятіе, какъ основанное совершенно на законныхъ основаніяхъ...

Онъ поднялся съ мѣста и сухо закончилъ:

«— Конечно, все это, вѣроятно, очень забавно, что вы говорите. Но, извините, я и моя группа... Послѣ того, что вы изволили сказать... Вообще... Извините... Я занятъ, и мнѣ анекдотовъ слушать некогда!»

Позвонилъ и сказалъ человѣку:

— «Проводите monsieur!»

И такъ сказалъ, что человѣкъ-подлецъ, когда я ему далъ на чай два франка, долго вертѣлъ монету въ рукахъ:

— «Не фальшивая ли?»

— Не ошельмованъ?! Нѣтъ, ты скажи мнѣ, какіе тутъ анекдоты? При чемъ тутъ анекдоты?

Тюбейниковъ развелъ руками:

— Убей, — не понимаю.

— Ну, а дальше что?

— Что дальше! Ошельмованъ, и конецъ. Пошелъ къ тѣмъ, кого онъ называлъ, изъ ихъ «группы». Къ кому ни приду, когда ни приду:

— «Дома нѣтъ!.. Занятъ... Никого не приказано принимать»...

Прищучилъ, наконецъ, одного подлеца у подъѣзда. Въ экипажъ садился. Тутъ ужъ не отвертишься! Подскочилъ.

— Позвольте,— говорю,— представиться. Тюбейниковъ!

Въ экипажъ онъ скакнулъ:

— «Ахъ,— говоритъ,—слышалъ! Вы, monsieur, говорятъ, очень забавные анекдоты разсказываете! Но я, извините, до анекдотовъ не охотникъ... Мнѣ некогда».

— Какіе, — говорю, — анекдоты?

— «Нѣтъ! Нѣтъ! Извините! Я человѣкъ занятой! И въ серьезныя, тѣмъ болѣе денежныя, дѣла съ людьми, разсказывающими анекдоты, не вступаю!»

И съ испугомъ какимъ-то крикнулъ кучеру:

— «Пошелъ!»

Огорченный, убитый, уничтоженный Тюбейниковъ пожалъ плечами:

— Вотъ ты и пойми!.. До чего дошелъ! Въ сыскную полицію обратился. Самъ о себѣ справки наводить началъ!

— Какъ въ сыскную полицію? Зачѣмъ въ сыскную полицію?

— Думаю, можетъ, про меня кто-нибудь пакости какія распространилъ. Письма анонимныя. Надо же разузнать, почему отъ меня люди шарахаются. Знаешь, у нихъ тутъ, въ Парижѣ, есть частныя конторы по сыскной части. Жену невѣрную выслѣдитъ, справки о комъ навести. Пошелъ въ такую контору.

— Есть,—говорю,—тутъ пріѣзжій изъ Россіи помѣщикъ одинъ, предприниматель, Тюбейни-

ковъ. Остановился тамъ-то. Имѣетъ дѣла съ такими-то и такими-то капиталистами. Нельзя ли мнѣ разузнать, что это за человѣкъ. Капиталистовъ этихъ, что ли, какъ стороною разспроситъ. Что они объ немъ скажутъ?

— «Извольте, — говоритъ, — сто франковъ это будетъ стоить. Деньги впередъ».

Заплатилъ сто франковъ.

Посмотрѣли, не фальшивые ли.

— «Приходите, — говорятъ, — черезъ три дня».

Прихожу черезъ три дня.

— Готово?

— «Всѣ справки наведены».

— Ну, и что же?

Хозяинъ бюро конфиденціально къ уху наклоняется:

— «А вотъ что, monsieur! Если вамъ съ этимъ господиномъ придется когда встрѣтиться,— бѣгите».

— Какъ? — говорю. — Объѣхать? Почему?

— «Такія, — говоритъ, — свѣдѣнія!»

— Какія свѣдѣнія?

— «Подозрительная личность. Въ высшей степени подозрительная личность».

— Понимаешь, — стою, какъ бревномъ по башкѣ звизданули.

А хозяинъ бюро, подлецъ, еще къ уху наклоняется.

— «По всей справедливости,— говоритъ,— съ васъ, monsieur, еще бы сто франковъ, по меньшей мѣрѣ, слѣдовало. Отъ этакой опасности васъ спасли, объ этакой подозрительной личности предупредили!»

Хотѣлъ ему въ ухо дать. Но прямо въ тѣ поры не зналъ, что дѣлать.

Выхожу изъ бюро этого, подлаго, и у самого мысль:

— «А на самомъ дѣлѣ, можетъ-быть, этотъ Тюбейниковъ-то жуликъ?! Не встрѣтиться бы!»

— Понимаешь съ ума сходитъ началъ!

Что я? — не разберу. Честный человѣкъ или, впрямь, подозрительная личность? Нѣтъ ты объясни мнѣ, что это значитъ?!

— Положеніе твое, дѣйствительно, затруднительное. Но объяснитъ ничего не могу. Самъ знаешъ: я въ этихъ вашихъ предпріятіяхъ, группахъ — ни бельмеса. А вотъ что! Есть у меня знакомый. Г. Каталажкинъ. Магъ и волшебникъ по этой части. Можетъ, къ нему пойдемъ? Можетъ, онъ объяснитъ? Да ты не плачь!

И мы пошли съ убитымъ пріятелемъ къ г. Каталажкину.

V.

Наполеонъ.

Г. Каталажкинъ жилъ въ отелѣ «Континенталь», въ угловомъ отдѣленіи на двѣ улицы, гдѣ вообще останавливаются самыя высокопоставленныя особы.

Когда мы спросили:

— Г. Каталажкинъ дома?

Швейцаръ, на что гражданинъ республики, и тотъ, какъ самый урожденный лакей, картузъ съ головы сорвалъ и на отлетъ отставилъ:

— Вамъ удача, messieurs! Monsieur le prince какъ разъ въ эту минуту дома и изволятъ принимать!

И, позвонивъ лакея, приказалъ:

— Къ monsieur le prince!

Лакей довелъ насъ до первой площадки и передалъ другому лакею:

— Проведите къ monsieur le prince!

Съ лѣстницы, навстрѣчу намъ, спускался толстый господинъ съ оскаленными зубами.

При видѣ его Тюбейниковъ встрепенулся.

— Мой!

— Кто твой?

— Капиталистъ!

Услыхавъ, что лакей сказалъ: «къ monsieur le prince»,—капиталистъ съ изумленіемъ оглядѣлъ Тюбейникова.

Словно хотѣлъ сказать:

— Такая шишгаль съ такой особой можетъ имѣть дѣло?!?!??

Такъ краснорѣчивъ былъ его взглядъ!

Въ коридорѣ второй лакей передалъ насъ третьему, а четвертый лакей, отворивъ намъ дверь въ отдѣленіе, съ благоговѣніемъ сказалъ:

— Пожалуйте. Monsieur le prince приказалъ васъ принять!

Г. Каталажкинъ, въ сѣренькомъ костюмчикѣ, бодрый и необыкновенно подвижной, въ первую минуту насъ словно и не замѣтилъ.

Онъ «отпускалъ» трехъ французовъ. Всѣ были толсты. У всѣхъ зубы оскалены. И всѣ похожи на капиталистовъ.

Одному сказалъ:

— Можете смѣло ѣхать въ Петербургъ. Графъ предупрежденъ о васъ и вашемъ дѣлѣ!

— Другому:

— Князь обѣщалъ оказать вамъ содѣйствіе. Я получилъ отъ него письмо.

Третьему:

— Ваше дѣло отлично. Баронъ заинтересованъ.

И когда они, пятясь и кланяясь, стали удаляться къ двери, обратился къ намъ:

— Messieurs!..

Такимъ тономъ, что выходившіе могли думать, что мы приговорены къ смерти и явились умолять г. Каталажкина:

— Дозвольте намъ жить!

Какъ только дверь за капиталистами закрылась, г. Каталажкинъ вдругъ превратился въ отличнѣйшаго малаго и воскликнулъ:

— Очень радъ! Очень радъ, господа! Садитесь. Курите. Какъ дома!

— Вотъ позвольте познакомить васъ съ моимъ другомъ Тюбейниковымъ.

Г. Каталажкинъ заглянулъ на него съ любопытствомъ:

— Слышалъ... Это вы и есть подозрительная личность?

Тюбейниковъ подскочилъ на мѣстѣ:

— И вы слышали?

Г. Каталажкинъ расхохотался самымъ откровеннымъ образомъ:

— Весь дѣловой Парижъ про васъ знаетъ! Васъ даже принимаютъ за нѣмецкаго шпіона.

Тюбейникова чуть не хлопнулъ ударъ.

Но я прервалъ г. Каталажкина:

— Позвольте, monsieur Каталажкинъ, чтобы мой другъ сначала изложилъ вамъ свое дѣло.

Пока Тюбейниковъ разсказывалъ свои злоключенія, г. Каталажкинъ улыбался, покачивалъ головой, а когда рѣчь зашла о томъ, какъ мой другъ самъ о себѣ въ сыскномъ отдѣленіи справки наводилъ, г. Каталажкинъ ужъ откровенно расхохотался:

— Свѣдѣнія не совсѣмъ точныя. Этотъ мошенникъ хозяинъ бюро плохо справлялся. Мнѣнія о васъ раздѣлились. Одни считаютъ васъ... Позволите говорить прямо?

— Пожалуйста!

— Одни считаютъ васъ... pardon, это не мое мнѣніе... просто-напросто идіотомъ.

— Ну, это еще слава Богу.

— Другіе—авантюристомъ и мошенникомъ.

— О, чортъ!

— А третьи принимаютъ даже за революціонера.

— Что-о?!

— Ну, да!—преспокойно пожалъ плечами г. Каталажкинъ. — По мнѣнію французовъ, русскій, говорящій о законахъ, — революціонеръ.

Г. Каталажкинъ снова съ удивленіемъ пожалъ плечами:

— Положимъ, что къ вамъ является человѣкъ, ну, хотъ изъ Франціи. И говоритъ, что въ его

странѣ бѣгаютъ страусы. За кого вы его сочтете? За кого?

— Ну, за враля.

— Вотъ, видите! Людей на грабежъ приглашаете и говорите о законахъ. Своевременная тема!

Тюбейниковъ даже вскочилъ со сжатыми кулаками:

— Какъ на грабежъ?! Когда я своихъ 300 тысячъ вкладываю!

Но г. Каталажкинъ спокойно отвѣтилъ, только нѣсколько отодвинулся:

— Во-первыхъ, потрудитесь разжать кулаки. Дѣло гражданское. А во-вторыхъ, вамъ самое лучшее ѣхать домой.

Г. Каталажкинъ посмотрѣлъ на Тюбейникова уничтожающимъ взглядомъ:

— Ну, какой вы есть продавецъ своего отечества? И кто у васъ отечество купитъ?

Онъ съ чувствомъ собственнаго достоинства ударилъ себя въ грудь:

— Я—продавецъ! И у меня купятъ! Потому знаютъ, у меня ни за собой ни передъ собой! Ничего! А потому и дѣлай съ моимъ отечествомъ что угодно. Отдаю! Ѣшь! Жри! Грабь! На клочки рви! Продаю! Мнѣ что? Мнѣ только учредительскихъ акцій подай,—я ихъ сейчасъ же реализирую и вонъ изъ дѣла. А тамъ дѣлай что

хочешь! Пластомъ свое отечество передъ ними положу. Дѣлай чшо хочешь! А вы? Триста тысячъ своихъ человѣкъ вкладываетъ. Какую же на него надежду можно возложить, что онъ грабить дастъ? Отечество свое продать возможно, но своихъ интересовъ, извините, никто не продастъ!

Г. Каталажкинъ даже расхохотался:

— Русскій предприниматель! Съ деньгами! И о законахъ говоритъ!! И вы хотите, чтобы васъ за подозрительную личность не сочли? Мнѣ вашъ капиталистъ съ ужасомъ разсказывалъ. «Пріѣхалъ,—говоритъ,—изъ Россіи подозрительный человѣкъ, о законахъ говоритъ. Я его спрашиваю: «Какія лица за васъ?» А онъ отвѣчаетъ: «За меня такіе-то законы». Это людямъ-то, которые убѣждены, что у насъ вмѣсто законовъ одни лица. Запасись соотвѣтствующими лицами, и никакіе соотвѣтствующіе законы тебѣ не страшны. А вы!.. Эхъ, вы!!

Тюбейниковъ вышелъ отъ г. Каталажкина, прямо потрясенный.

— Знаешь, — воскликнулъ онъ въ швейцарской,— этотъ твой Каталажкинъ либо жуликъ, либо Наполеонъ! Либо онъ на Россію двенадесять языковъ приведетъ, либо... либо самъ двенадесять языковъ слопаетъ!

А мнѣ вдругъ снова почему-то вновь вспомнилась Онорская тюрьма.

Надзиратель Карповъ потеръ непомнящему спину:

— Пробовалъ.

VI.

Въ кабакѣ.

Это было дня черезъ два въ кабинетѣ у Пайяра.

Великолѣпный обѣдъ кончился.

Капиталистовъ за обѣдомъ никакихъ не было. Совсѣмъ напротивъ, были русскіе.

Г. Каталажкинъ хватилъ за обѣдомъ лишнее, и очень лишнее.

Онъ лежалъ теперь на диванѣ въ разстегнутомъ жилетѣ. Лицо было красно, глаза налились кровью. Дышалъ тяжело.

Monsieur Каталажкинъ, — сказалъ кто-то,— въ театръ пора. Вы, кажется, взяли билетъ на первое представленіе къ Саррѣ Бернаръ!

Г. Каталажкинъ отвѣтилъ:

— Ну, ее къ чорту! Старую тварь!

Онъ посмотрѣлъ на часы:

— Рано. На двѣнадцать у меня виконтесса заказана.

— Какъ виконтесса?

— Тутъ баба одна, этими дѣлами занимается,— обѣщалась поставить. Говоритъ, безстыжа потрясающе. Если, дѣйствительно, безстыжа,— идетъ! А нѣтъ, — къ чорту!

— Нѣтъ, какова скотина!—шепнулъ мнѣ Тюбейниковъ.— Еще и въ карманѣ-то ничего нѣтъ, а ужъ смотри! Сарру Бернаръ къ чорту, виконтессу какую-то «заказываетъ», да еще, чтобъ была «безстыжа»! А ежели деньги-то у этого скота будутъ, — тогда что?

Не знаю, слышалъ ли Каталажкинъ. Но догадался — очевидно.

Онъ повернулъ къ Тюбейникову красное, словно томатъ, лицо, прищурилъ налитые кровью глаза:

— Ругаете?.. «Законникъ»!.. А?.. Люблю, когда меня ругаютъ!.. Освѣжаетъ!.. А то все «prince» да «prince»... То ли дѣло: въ морррду, сквернѣми словами. Чисто душъ! Господа! — вскочилъ онъ вдругъ съ дивана и принялся застегивать жилетъ.—Айда въ кабакъ, чтобъ насъ въ лоскъ изругали! Кабакъ такой знаю, — какъ ругаются! Какъ ругаются!—повторялъ онъ съ упоеніемъ.

Кругомъ засмѣялись.

Г. Каталажкинъ оглядѣлся мрачно:

— Н-не желаешь? Не надо! Одинъ пойду.

— Я съ вами!

Мнѣ хотѣлось «доглядѣть» г. Каталажкина.

Мы пошли.

— Кабакъ Александра Бріана! На бульварѣ St Martin! Знаете,—обратился онъ къ своему кучеру.

— Oui mon ptince!

— А «вуй» такъ и пошелъ! — мрачно огрызнулся г. Каталажкинъ.

Это былъ одинъ изъ тѣхъ монмартрскихъ «артистическихъ кабачковъ, которые создалъ извращенный вкусъ артистическихъ подонковъ Парижа.

Вмѣсто двери—лѣса гильотины. По стѣнамъ портреты и маски знаменитыхъ убійцъ. На люстрѣ, сдѣланной изъ костей скелета, болтался на веревкѣ висельникъ, манекенъ человѣка съ синимъ лицомъ и высунутымъ языкомъ.

По обычаю монмартрскихъ кабачковъ, насъ, какъ и всѣхъ вновь входившихъ, встрѣтили ругательнѣйшей пѣсней..

Самъ хозяинъ «артистическаго» кабачка, Александръ Бріанъ, толстый огромный человѣкъ, съ лицомъ рецидивиста, съ копной грязныхъ, спутанныхъ длинныхъ волосъ, былъ, повидимому, отлично знакомъ съ г. Каталажкинымъ.

Хлопнулъ его по животу и крикнулъ, обращаясь ко всѣмъ присутствующимъ:

— Величайшій мерзавецъ издыхающаго столѣтія! А я думалъ, что тебя ужъ повѣсили! Нѣтъ на этой подлой землѣ справедливости!

Г. Каталажкинъ улыбнулся пьяной и мрачной улыбкой.

— Повѣсятъ вмѣстѣ съ тобой!

— Тебя вторымъ! Какъ гнуснѣйшаго преступника! Смотри и казнись! Чѣмъ будешь отравляться?

— Шампанскаго!

— Дать этому негодяю три бутылки самаго скверная шампанскаго! Ему удалось сегодня кого-то зарѣзать!

И хозяинъ перешелъ такъ же «занимать» другихъ гостей.

— Каждый человѣкъ любитъ, чтобъ съ нимъ время отъ времени обращались какъ слѣдуетъ!— мрачно сказалъ г. Каталажкинъ и попробовалъ вино:—Все, что не вретъ, такъ это, что вино, дѣйствительно, дрянь. Годбэнъ! — завопилъ вдругъ онъ.

Изъ темнаго угла вылѣзъ здоровый малый, съ волосами, падавшими по плечамъ, съ лицомъ настоящаго каторжника.

— Знаменитый пѣвецъ!—пояснилъ мнѣ г. Каталажкинъ.

И, кинувъ знаменитому пѣвцу стофранковый билетъ, крикнулъ:

— Годбэнъ! A la Roquette!!

Звякнуло разбитое піанино.

Голосъ Александра Бріана крикнулъ откуда-то:

— Будешь тамъ!

И Годбэнъ сиплымъ голосомъ запѣлъ «послѣднія минуты приговореннаго къ смерти».

«Встаетъ заря... Я слышу стукъ... Тамъ строятъ гильотину... Шумитъ толпа... Они собрались посмотрѣть на казнь въ тюрьмѣ Роккетъ»...

Въ полумракѣ, среди орудій казни, портретовъ и масокъ убійцъ,—это было, дѣйствительно, жутко.

Г. Каталажкинъ улыбался мрачно, злобно и вмѣстѣ съ тѣмъ блаженно.

— Плетъ бы еще сюда повѣситъ. На стѣну!—провелъ онъ въ воздухѣ рукой.

И снова мнѣ, но ужъ тоскливо, жутко, вспомнился надзиратель Карповъ...

— Пробовалъ...

— Подлецы!—вскрикнулъ вдругъ г. Каталажкинъ и застучалъ кулакомъ по сшолу.—Подлецы!

— Тише вы!

— Ничего не значитъ! Я плачу! А кто платитъ,—все можетъ! Все! Сверхъ-человѣкъ! Ха-ха-ха! Плачу,—и могу!

— Да вѣдь нравы...

— Никакихъ нравовъ, когда платятъ! Никакихъ! Ничего! Вы думаете, что во Франціи,—и нельзя. Все можетъ, кто платитъ! Нѣтъ никакихъ французовъ, нѣмцевъ, англичанъ, испанцевъ. Никого нѣтъ! Никого! Одни подлецы! Подлецы! Тотъ, кому платятъ, есть подлецъ, а тотъ, кто платитъ, — сверхъ-подлецъ! А кому не платятъ, и кто не платитъ самъ?

И г. Каталажкинъ захохоталъ. Но лицо его было свирѣпо. У пьянаго у него лицо осунулось, и что-то звѣрское даже было въ его выдавшихся скулахъ.

— Пьянъ я? Пьянъ! И горжусь! Во всемъ величіи своего человѣческаго достоинства говорю: гор-жусь! гор-жусь! гор-жусь! Если бъ я постоянно могъ въ пьяномъ видѣ быть,—благороднѣйшая личность была бы. Подлецъ и пью. И потому пью, что сознаю, что подлецъ. И въ пьяномъ видѣ самого себя и всѣхъ подлецовъ презираю. И всѣ подлецы. И если бы сознавали, что они подлецы,—всѣ были бы пьяны. Всѣ. Но имъ не дано! А я славянскую душу имѣю. Каталажкинъ! Славянинъ! Сла-вя-нинъ!

— Ну, ты! Слишкомъ кричишь! Вѣдь еще не вѣшаютъ!—подошелъ хозяинъ «артистическаго» кабачка.

— Еще три бутылки шампанскаго!—отвѣтилъ ему г. Каталажкинъ.— Славянинъ и каюсь. У насъ каждый подлецъ кается, потому что душу имѣетъ! А имъ!—г. Каталажкинъ ткнулъ пальцемъ въ сидѣвшихъ въ кабачкѣ.—А имъ не дано. У славянина душа, а у всѣхъ этихъ, тамъ, у французишекъ, у бельгійцевъ, у англичанъ, какъ ихъ еще тамъ,—паръ! Имъ не дано. Еще Францискъ Сарсэ сказалъ: «какая такая русская драматургія? Вся драматургія ихъ состоитъ въ томъ, что люди дѣлаютъ,—дѣлаютъ глупости, а потомъ станутъ на колѣни и начнутъ на всѣ четыре стороны въ ноги кланяться!» Пьесы такія давали. Сначала «Грозу», Катерина на колѣняхъ каялась. Потомъ «Преступленіе и наказаніе», Раскольниковъ на колѣняхъ каялся. Наконецъ, «Властъ тьмы», Никита на колѣни сталъ и началъ каяться. Францискъ Сарсэ и насмѣялся. И Сарсэ—подлецъ! Желаете, я, какъ славянинъ, передъ всѣми этими подлецами на колѣни стану и начну каяться?

Г. Каталажкинъ посмотрѣлъ на окружающихъ пьяными и звѣрскими глазами и помахалъ передъ носомъ пальцемъ:

— Передъ этими Франциcками Сарсэ? Ни-ко-гда! Ни-ко-гда! Не понять имъ. Не дано! Передъ этими подлецами? Передъ под-ле-ца-ми?!

Онъ прямо становился ужасенъ.

— Брїанъ! Дать еще полдюжины шампанскаго, потому я всѣхъ ихъ по-русски въ лоскъ ругаю. Всѣмъ имъ дать шампанскаго... Вы думаете, почему всѣ эти французы, анонимные бельгїйцы, англичане къ намъ идутъ? Залежи руды ихъ манятъ? Да? Залежи беззаконїя,—вотъ что ихъ манитъ. Вотъ что имъ разработывать хочется! Вы слышали, какъ я имъ, чертямъ, анекдоты объ «исключенїяхъ» разсказывалъ? Видѣли, какой радостью они отъ глубины своей подлой души трепетали? За невѣжество и пускай погибаютъ! И справедливо это, и справедливо! Они о нашей странѣ только анекдоты знаютъ. «Никакихъ законовъ нѣтъ», вотъ ихъ представленье подлое. На это и уповаютъ! А вашъ Тюбейниковъ имъ про законы! Дуракъ вашъ Тюбейниковъ! Они думаютъ: «Если въ моемъ дѣлѣ заинтересованъ графъ Иксъ, какой можетъ быть законъ?» Всѣ законы отмѣнятъ, земства, самоуправленїе уничтожатъ, чтобъ только дѣло, въ которомъ графъ Иксъ изволитъ принимать участїе, дивиденды давало. Они вотъ на что надѣются. Все, чего русское общество, рус-

скій народъ, добивались,—на смарку, по ихъ мнѣнію, пойдетъ, разъ интересы какого-нибудь графа Иксъ будутъ затронуты! Они презираютъ русское общество, русскій народъ. Считаютъ ихъ несуществующими. А? Несуществующими? Подлецы! Не богатства наши, не руду,—душу нашу, душу сожрать хотятъ!

И г. Каталажкинъ такъ колотилъ по столу, что стаканы, бутылки валились.

— Тише, Каталажкинъ. Тише!

— Нѣтъ, вы мнѣ скажите!—не унимался онъ.— Вы мнѣ вотъ что скажите! Почему французскіе бельгійскіе капиталы устремились вдругъ въ Россію? Почему? Дома имъ дѣлать нечего? Своихъ колоній нѣтъ? Потому что дома-съ законность капиталъ заѣла. Куда ни сунься,—на законность напорешься. Законность,—какъ «пали» въ каторжной тюрьмѣ. Задыхается въ нихъ капиталъ, по волѣ тоскуетъ. На просторъ, вширь хочется. А капиталъ-то онъ хищенъ. Онъ могучъ. Ему произвола хочется. Чтобы препятствій ему, сильному, хищному не было. Стоитъ ли и сильнымъ быть, чтобы силой своей не наслаждаться? А тутъ со всѣхъ сторонъ законъ: того нельзя, этого нельзя. И кинулся европейскій капиталъ въ Россію. Они о насъ анекдоты слыхали. Анекдоты только и знаютъ. Никакихъ,

по ихъ мнѣнію, законовъ. И мы, предприниматели, имъ въ дудку поемъ, назуживаемъ, втравливаемъ: «Никакихъ!» Капиталъ и думаетъ: «Набезобразничаю! Разграблю, ежели безъ законовъ. Чего лучше!» Разгорѣлись глаза,—и прутъ. Вы на рожи-то только на ихъ посмотрите, когда они о Россіи говорятъ! Словно насиловать собираются! Ха-ха-ха!

— Веселъ, каторжникъ?—обрадовался Бріанъ, что мрачный гостъ началъ смѣяться.

— Полдюжины шампанскаго еще, и пшолъ!—крикнулъ ему г. Каталажкинъ.—Люто капиталъ и насилїе любитъ! Я въ Лондонѣ разъ въ плохихъ дѣлахъ былъ. Жратъ нечего. Хотѣлъ въ солдаты къ нимъ наниматься. На Трофальгарскверъ ходилъ, съ вербовщиками говорилъ. Такъ тамъ вотъ насмотрѣлся. Въ Англїи оставаться, въ солдатахъ служить,—ни одна душа не желаетъ. А въ колонїи,—отбою отъ желающихъ нѣтъ. Къ чернымъ-то, къ коричневымъ людямъ, къ покореннымъ, къ безправнымъ. Еще бы! Какое тутъ въ Англїи удовольствїе? Ходи всегда навытяжку. А тамъ, въ колонїи! Понравилось что—возьми. Не понравилось—бей. Насилуй. Убьешь,—и то ничего не будетъ: для поддержанїя престижа англїйскаго солдата виновнымъ не признаютъ! Понасильничать-то всякому лестно!

Такъ и капиталъ! Здѣсь-то что ему лестнаго? Со всѣхъ сторонъ законами окургузили. А выйти изо всякихъ рамокъ, на волю, творить, что хочешь.

Вотъ они зачѣмъ къ намъ идутъ, господа европейцы!

Онъ захохоталъ.

— Да стой, братъ! На анекдоты ловишься! Тебѣ беззаконье-то снится, о немъ тебѣ разсказываютъ, а ты и вѣришь? Европейцы? А мы, братъ, азіаты. Хитры азіаты! лукавы! У нихъ, у Европы, сила, у нихъ капиталъ. А у насъ, у азіатовъ, одна защита—хитрость! Завлечемъ. Наскажемъ сказокъ! Хе-хе-хе!..

Г. Каталажкинъ весь какъ-то злобно засіялъ, загикалъ, засвисталъ.

— И пріидетъ часъ...

Пророчествовать уже началъ.

— Каталажкинъ! Каталажкинъ! Безъ четверти двѣнадцать! Вамъ къ виконтессѣ пора!

— И виконтессу къ чорту! Паръ вмѣсто души! Мнѣ виконтесса съ паромъ не нужна! Тфу! Русская, ежели бы,—я бъ взялъ! Русская, если такъ до безстыдства должна на свиданье на этакое поѣхать, такъ она хоть потомъ себя презирать будетъ. Пить начнетъ, во всѣ тяжкія пустится, а то и отравится на другой день. Иначе, какъ «подлой» себя не назоветъ. Съ той

я готовъ. Ей жизнь постыла, а я ей своимъ свиданьемъ уходъ изъ этой жизни облегчу. Послѣднюю каплю добавлю. Мерзостнымъ воспоминаньемъ отравлю. На самоубійство силъ дамъ. Жизненный вопросъ разрѣшу. Все-таки доброе дѣло. А это? Паръ вмѣсто души. Она завтра съ мужемъ какъ ни въ чемъ не бывало въ оперу на первое представленіе поѣдетъ, и сама себя въ душѣ будетъ «порядочной» женщиной считать! Европейка! Скажи-ка ей: «подлая». Разсмѣется. Отъ глубины души,—чортъ ее возьми!—разсмѣется. Всѣмъ паромъ и искренно разсмѣется. Потому не душа, а паръ! Паръ! Паръ! И у всѣхъ, у васъ, у чертей, паръ!

И вдругъ, схвативъ бутылку, г. Каталажкинъ запустилъ ею въ перваго попавшагося, сидѣвшаго господина.

Всѣ повскакали съ мѣстъ.

Раздались крики:

— Бить его!

— Бить!

— Что за русскій бояринъ!

Но патронъ «артистическаго» кабачка и артисты стѣной стали между г. Каталажкинымъ и публикой.

Прислуга, обсчитавъ, вывела и усаживала г. Каталажкина въ экипажъ.

А «патронъ», любезно хлопая меня по плечу, успокоивалъ:

— Вы, русскіе, ужасные пьяницы. Хорошій народъ для всякаго ресторана, но чрезвычайные безобразники! Это ничего? Вы не безпокойтесь! Я понимаю! Я русскихъ давно знаю. Благородный молодой человѣкъ— и только. Я второе поколѣніе благородныхъ русскихъ людей вижу. Раньше пріѣзжали въ Парижъ прокучивать свое. И безобразничали. Теперь пріѣзжаютъ прокучивать чужое. И тоже безобразничаютъ! Это ничего! Это ничего! Это у васъ въ привычкахъ! У васъ, у русскихъ, такая природа.

VII.

Въ нордъ-экспрессѣ.

Черезъ два дня я уѣзжалъ нордъ-экспрессомъ въ Петербургъ.

Что это было за время!

Въ нордъ-экспрессѣ за двѣ недѣли нельзя было добиться билета.

Нордъ-экспрессъ былъ тогда «артеріей, соединявшей предпріимчивую Европу съ естественными богатствами Россіи».

И артерïя билась полнымъ боемъ.

Вагоны были полны предпрïимчивыми французами, анонимными бельгïйцами, дѣловыми англичанами.

Одни летѣли, какъ развѣдочные отряды, на предварительныя рекогносцировки. Другïе двигались какъ уже дѣйствующая армïя.

Аппетитные разговоры о Россïи не умолкали ни на минуту.

И при видѣ этихъ, говорившихъ о Россïи, французовъ, бельгïйцевъ, англичанъ, мнѣ вспоминался почему-то одинъ знакомый владивостокскïй мичманъ.

Какъ онъ мнѣ разсказывалъ:

— Иду на свиданье съ солдаткой тутъ одной. Въ сапогахъ она, подлая, ходитъ. Но обилïе мяса прямо потрясающее. И сладостъ предвкушаю, и думатъ о ней—тфу!—Противно!

Во всѣхъ купэ шелъ гоготъ.

— И занимаются эти русскïе тѣмъ, что ѣдятъ. Сколько они ѣдятъ! Сколько они ѣдятъ!

— Во-первыхъ, вѣроятно, «водки»?

— Представьте! Пьютъ «водки» передъ обѣдомъ!

— Тсъ!

— Не съ кофе, послѣ обѣда. А передъ ѣдой!

— Ха-ха-ха!

— Затѣмъ «закуски».

— Говорятъ «закуски» — это очень недурно.

— Они, русскіе, умѣютъ дѣлать «закуски». Затѣмъ подаютъ какую-то холодную вещь. Жидкое. Тамъ... Нѣтъ! Вы вообразите себѣ: огурцы, рыба накрошена, лукъ.

— Ха-ха-ха!

— Затѣмъ поросенокъ съ кашей!

— Хо-хо-хо!

— Затѣмъ гусь съ яблоками!

— О-хо-хо-хо-хо!

И всѣ покатывались надъ обжорствомъ «этихъ русскихъ».

— Они только и дѣлаютъ, что празднуютъ!— разсказывалось въ другомъ купэ.—У нихъ всякій день праздникъ! Святого Ивана день — праздникъ. Святого Петра—праздникъ. Святого Николая — праздникъ.

— Ха-ха-ха!

Слова «князь», «графъ», «баронъ» такъ и гремѣли во всемъ поѣздѣ.

— О, въ нашемъ предпріятіи князь Иксъ заинтересованъ. Онъ записанъ учредителемъ и получаетъ на 200 тысячъ учредительскихъ акцій. У него такія связи. Намъ все разрѣшатъ!

— У насъ графъ Игрекъ. Онъ будетъ числиться однимъ изъ директоровъ. 24 тысячи

въ годъ жалованья. У него такія знакомства. Онъ что угодно выхлопочетъ!

— Разъ у насъ въ дѣлѣ баронъ Дзэтъ заинтересованъ! Что жъ намъ могутъ не разрѣшить, разъ его интересы тутъ замѣшаны!

Знакомясь съ вами, русскимъ, въ ресторанъ-вагонѣ, иностранные предприниматели первымъ долгомъ спрашивали:

— Вы знакомы съ графомъ такимъ-то?

— Нѣтъ.

— А съ барономъ такимъ-то?

— Тоже нѣтъ.

— Съ генераломъ такимъ-то?

— И съ нимъ нѣтъ.

Послѣ этого иностранецъ смотрѣлъ на васъ даже съ недоумѣніемъ:

— Какъ же это, молъ, вы послѣ этого можете существовать?

И отодвигался отъ васъ:

— Должно-быть, человѣкъ неблагонадежный. Ни съ однимъ генераломъ не знакомъ!

Одинъ иностранный предприниматель, мой сосѣдъ по купэ, узнавъ, что я журналистъ, спросилъ:

— А почему вы, monsieur, не издаете своей газеты?

— Ну, знаете. На это много причинъ!

— Хотите? Я въ дружескихъ отношенїяхъ съ графомъ Иксъ. Charmant garçon! Хотите, я ему скажу?

— Позвольте! Графъ Иксъ никакого отношенїя не имѣетъ. Онъ просто молодой человѣкъ, ничѣмъ не занимается...

Иностранецъ посмотрѣлъ на меня удивленно, но съ благосклонностью:

— Но у него столько, знакомствъ! Стоитъ ему сказать слово. Не откажутъ же ему въ такихъ пустякахъ. Онъ — графъ Иксъ. Онъ все можетъ!

Было и смѣшно и злость брала.

— Есть, знаете, у меня сынъ. Рожденъ не въ бракѣ, но совсѣмъ, совсѣмъ какъ бы и въ бракѣ. Такъ вотъ нельзя ли, чтобъ онъ назывался какъ я...

Иностранный предприниматель подумалъ только съ минуту:

— Что жъ! Пусть! Я скажу барону Дзэтъ. Charmant garçon! Стоитъ ему сказать слово, и вамъ, конечно, разрѣшатъ. Будьте покойны, я вамъ сдѣлаю.

Они ѣхали черезъ «заинтересованныхъ» лицъ «правити и володѣти» нами.

«Варяги» сїяли.

А я, когда мелькнуло Вержболово, смотрѣлъ на разстилавшіяся кругомъ унылыя родныя поля и возсылалъ смиренную молитву сѣрымъ и тусклымъ роднымъ небесамъ:

— Небо земли русской! Ты, спасавшее насъ отъ монголовъ, ты, спасавшее насъ отъ двунадесяти языкъ, защити, спаси и помилуй теперь отъ нашествія предпріимчивыхъ французовъ, анонимныхъ бельгійцевъ, дѣловыхъ англичанъ. Не дай сожрать насъ!

И вспоминались мнѣ слова г. Каталажкина:

— За Европою сила, за Европою капиталъ, у насъ, у азіатовъ, одна защита—хитрость. Чья возьметъ?

Если суждено быть грабежу, пусть судьба поможетъ намъ ограбить тѣхъ, кто хочетъ ограбить насъ.

А поѣздъ несся по русскимъ равнинамъ, словно лихая шайка грабителей неслась по мирнымъ полямъ.

И въ хохотѣ предпринимателей, разсказывавшихъ другъ другу анекдоты «про этихъ русскихъ», слышались разбойное гиканье, молодецкій посвистъ и что-то похожее на:

— Сарынъ на кичку!

Жутко тогда было въ этомъ поѣздѣ, и снилися страшные сны.

Подъ хохотъ и гоготъ иностранцевъ, предвкушавшихъ и торжествовавшихъ, мнѣ снился тотъ же поѣздъ.

Но на паровозѣ, вмѣсто машиниста, стоялъ г. Каталажкинъ.

Въ красной косоворткѣ, съ разбойнымъ видомъ.

Пьяный и наглый.

Онъ все прибавлялъ и прибавлялъ ходу.

— Топи во всю!—оралъ онъ дикимъ голосомъ кочегарамъ.

Словно адъ бушевалъ въ топкѣ. Г. Каталажкинъ открылъ регуляторъ во всю и съ хохотомъ схватился за свистокъ.

Свистокъ свисталъ, словно вопль ужаса несся по полямъ.

Поѣздъ летѣлъ съ быстротой 150 верстъ въ часъ.

Вагоны кидало изъ стороны въ сторону. А въ купэ все продолжались хохотъ и гоготъ предпріимчивыхъ иностранцевъ.

— Эти русскіе только жрутъ!

— Ха-ха-ха!

— Эти русскіе только празднуютъ.

— Ха-ха-ха!

Поѣздъ давно уже слетѣлъ съ рельсовъ, мчался по шпаламъ, разрѣзая, кроша ихъ.

Вагоны метались изъ стороны въ сторону, прыгали, а въ купэ, упоенные, предвкушавшіе, торжествующіе,— никто не обращалъ вниманія, никто не замѣчалъ.

Хохотъ и гоготъ ревѣли въ купэ.

И вдругъ все это съ адскимъ шумомъ, грохотомъ, трескомъ полетѣло куда-то въ пропасть.

Одинъ огромный вопль, одинъ огромный крикъ гибнущихъ предпріимчивыхъ иностранцевъ взлетѣлъ къ небу.

И все смолкло.

Я проснулся.

Мой сосѣдъ по купэ приглаживалъ волосы.

— Скоро Петербургъ!—сказалъ онъ съ такимъ видомъ, словно хотѣлъ сказать:

— Скоро начнемъ жрать.

VIII.

Въ Петербургѣ.

Въ тѣ времена «розничной продажи своего отечества» у Кюба было весело и шумно.

Русскіе предприниматели и иностранные капиталисты, — все это сидѣло вперемежку и пило шампанское:

— За успѣхъ общаго дѣла!

— Ура!

Hipp, hipp hourraaa!

Шелъ пиръ.

Пріятели встрѣтили меня тысячами новостей:

— Такой-то. Помните, прогоралъ? Воскресъ! Вонъ онъ! Иностранцамъ дѣло устроилъ!

— Такой-то. Помните, его описали. Банкротъ! Поднялся! Иностранцамъ дѣло устроилъ!

Все, что было въ Петербургѣ прогорѣлаго! обнищавшаго, промотавшагося, — поднялось и, вмѣсто арестантскихъ ротъ, сидѣло у Кюба.

— А такой-то? Ужели и онъ не въ острогѣ?

— Въ кабинетѣ! Съ капиталистами завтракаетъ! У васъ какія новости? Что въ Парижѣ?

— Происходитъ какой-то дѣлежъ русской земли.

Я разсказалъ, что видѣлъ.

Кто-то посмѣялся:

— Нда-съ! Темочки, батенька, недурныя. Только воспользоваться нельзя!

— Но почему? Почему?

— Ну, что вы, батюшка! Съ ума сошли, Такія лица въ предпріятіяхъ заинтересованы. Развѣ можно? Князь Иксъ, графъ Игрекъ, баронъ Дзэтъ!

— Да, во-первыхъ, это, можетъ-быть, ложь все!

— Всѣ говорятъ! Нѣтъ, батенька, вы и газету подведете.

Въ эту минуту подошелъ какой-то предпринимателъ:

— Господа! Поздравьте! Мое дѣло предрѣшено!

— Предрѣшено?

— Предрѣшено! А вы думаете противъ писать. Развѣ можно?

Въ редакціяхъ были удручены.

— Господа! Да вѣдь это же грабежъ! Это Панама какая-то! Объ этомъ надо писать! Вѣдь эти «предпріимчивые россійскіе люди» иностранцевъ прямо на разбой зовутъ!

— Объ этомъ нужно писать!

— Необходимо!

И всѣ соглашались, что необходимо.

— Позвольте! Что такое? — вопилъ горячій редакторъ. — Какой такой Каталажкинъ? Жуликъ! Валять его въ хвостъ и гриву!

Но въ эту минуту входилъ въ редакцію хорошо освѣдомленный сотрудникъ.

— Господа, дѣло Каталажкина предрѣшено!

— Какъ предрѣшено?

— Рѣшено разрѣшить и согласиться на всѣ условія.

— Позвольте! Какъ?

— Вся биржа говоритъ. И у Кюба всѣ знаютъ.

— Неужели и у Кюба подтверждаютъ?!

— Мнѣ его компаньонъ самъ говорилъ.

И всѣ вѣшали носы.

— Ну, разъ предрѣшено...

— Тогда и писать къ чему же?

— Безполезно.

— Поздно.

— Да и опасно. Разъ — предрѣшено!

И когда потомъ оказалось, что всѣ эти «предрѣшенія» были въ девяносто девяти случаяхъ изъ ста вздоромъ, ложью, выдуманной и пущенной съ цѣлью зажать рты, напугать и заставить молчать печать.

— «Предрѣшено».

Это было самое лучшее средство изъять вопросъ изъ обращенія.

И гг. «предпріимчивые люди» широко, необузданно пользовались этимъ всесильнымъ средствомъ.

Стоило пустить слухъ.

— «Предрѣшено!»

— Говорите теперь противъ. Попробуйте. Разъ пред-рѣ-ше-но!

«Предрѣшено» — это было страшное слово. «Жупелъ», «металлъ». Отъ котораго сдавливало дыханіе.

— Господа! Противъ этого писать нельзя! Это предрѣшено!

И какъ этой ложью пользовались! Какъ пользовались!

IX.

Смерть Каталажкина.

Съ тѣхъ поръ прошло пять лѣтъ.

Всего какихъ-нибудь пять лѣтъ.

Я снова былъ въ Парижѣ. Жилъ на площади Оперы, а сзади ныл голодный голосъ какого-то гида по гнуснымъ мѣстамъ Парижа.

— Господинъ, не угодно ли посѣтить интересныя учрежденія?

Онъ шелъ по пятамъ.

— Господинъ... Господинъ...

Этотъ голосъ казался мнѣ знакомымъ.

— Адреса кокотокъ... Фотографическія карточки...

И въ голосѣ гида зазвучало настоящее отчаяніе.

— Господинъ! Въ щелочку смотрѣть изволили?

Я оглянулся. Передо мной стоялъ... Каталажкинъ.

Обшарпанный, обдерганный, въ вытертомъ пальто, порыжѣвшемъ цилиндрѣ.

Съ тѣмъ же бѣгающимъ взглядомъ, который «трогалъ» все: цѣпочку, чутъ чутъ оттопырившійся карманъ.

На исхудаломъ, ввалившемся лицѣ былъ написанъ голодъ, одинъ безпросвѣтный голодъ.

— Каталажкинъ!? Вы?!

Онъ отступилъ. Узналъ.

Онъ глядѣлъ съ испугомъ:

— Я—Омлетскій, Омлетскій—я.

— Но вы—Каталажкинъ! Перестаньте! Вы—Каталажкинъ!

Я протянулъ ему руку.

Онъ пожалъ ее,—сначала вытеръ свою о полупальто, — и отвѣтилъ съ настойчивостью:

— Моя фамилія — Омлетскій... Каталажкинъ умеръ.

— Какъ? Когда? Гдѣ?

— Застрѣлился!

Г. «Омлетскій» даже грустно вздохнулъ.

— Застрѣлился полтора года тому назадъ въ Café Riche. Вотъ и извѣстіе о его смерти.

Онъ досталъ изъ кармана засаленный номеръ одной изъ петербургскихъ газетъ.

— Вотъ черной каймой обведено. Я и каймой обводилъ. Прочтите.

Телеграмма:

— «Парижъ. Вчера въ Cafè Riche покончилъ самоубійствомъ извѣстный предприниматель по устройству въ Россіи иностранныхъ компаній Каталажкинъ. Самоубійство это ставятъ въ связь съ крахомъ многихъ предпріятій, основанныхъ на иностранные капиталы въ Россіи. Несчастный пустилъ себѣ пулю въ високъ. Никакого имущества послѣ Кашалажкина не осталось».

— Миръ его праху! — сказалъ я, отдавая г. «Омлетскому» газету.

Г. «Омлетскій» бережно сложилъ ее, положилъ въ карманъ и вздохнулъ:

— Я и телеграмму посылалъ. На послѣднія деньги. Какъ документъ храню. Каталажкинъ не существуетъ. И всѣ кредиторы его...

Г. Омлетскій» сложилъ руки и сдѣлалъ благоговѣйное лицо:

— Всѣ надутые имъ, всѣ иностранцы, капиталисты, «группы», которыя онъ втравилъ въ предпріятія, могутъ смиренно умолять Всевышняго, да ниспошлетъ Онъ Каталажкину муки адовы на томъ свѣтѣ. А на этомъ взять съ Каталажкина нечего! Мой другъ Каталажкинъ скончался. Существуетъ monsieur Омлетскій.

— И много вамъ пришлось перенести послѣ этого событія?

— Послѣ смерти незабвеннаго друга моего? О, много!

Онъ вздохнулъ искренно, отъ глубины души съ неподдѣльной горечью.

— Самое принятіе пищи сталъ считать далеко не ежедневнымъ занятіемъ! По шляпѣ моей видите, до чего я дошелъ. По пальто и по ботинкамъ! Раздавленъ и уничтоженъ какъ червь! Слава Богу еще, что, будучи Каталажкинымъ, на бѣшеныя деньги успѣлъ я основательно познакомиться со всѣми мерзостями Парижа. Нынѣ въ качествѣ знатока сопровождаю любознательныхъ туристовъ, желающихъ свински провести время и изучить «современный Вавилонъ». Голодный присутствую при оргіяхъ. Гидъ по Вавилону! Не желаете ли, подъ моимъ просвѣщеннымъ руководствомъ, посѣтить интересные уголки и тѣмъ дать заработать мнѣ кусокъ хлѣба,—быть-можетъ, самый честный, какой я только когда-либо зарабатывалъ!

— Каталажкинъ... виноватъ, Омлетскій... Омлетскій, перестаньте вы! Хотите, пойдемъ въ ресторанъ, поболтаемъ.

По лицу г. «Омлетскаго» сверкнула радость:

— Давно не видалъ приличной пищи!

— Идемъ!

— Ведите!

Онъ не ѣлъ, а поглощалъ. Пилъ залпомъ, не отрываясь. Глоталъ не жуя. И во взглядѣ его горѣлъ такой ужасъ, словно онъ боялся, что вотъ сейчасъ-сейчасъ отнимутъ,—и такая жадность, словно онъ хотѣлъ съѣсть не только то, что было у него на тарелкѣ, но и то, что было на тарелкахъ у всѣхъ.

Наконецъ онъ откинулся и крикнулъ:

— Гарсонъ, сыру!

Онъ былъ сытъ.

— Фу-у! Даже досадно, что насытился! Такъ пріятно это препровожденіе времени!

— Ну, теперь за кофе, Омлетскій, разскажите, какъ же все это произошло?

— Какъ произошло? Катастрофа, крахъ и трескъ! Столбъ пламени, дыма, и ничего не осталось. Груда обломковъ. И подъ обломками этими погибъ смѣлый предприниматель Каталажкинъ. Заваленный мусоромъ, досками, желѣзомъ, трупами загубленныхъ имъ иностранныхъ капиталистовъ. И изъ-подъ обломковъ, труповъ и прочаго мусора вылѣзъ,—чортъ чортомъ, на себя не похожъ,—еле дышащій проводникъ по неприличнымъ мѣстамъ г. Омлетскій. Честь имѣю представиться!

— Но какъ это случилось? Какъ?

Вмѣсто отвѣта г. «Омлетскій» захохоталъ.

— Вотъ-съ, вы попробуйте теперь пойти обратиться къ французскому, а особливо—ха-ха!—къ бельгійскому капиталисту съ предложеніемъ выгоднаго предпріятія въ Россіи!!! Въ полиціи не бывали? Будете! Вы знаете, что при словѣ «русскій» здѣсь скоро будутъ хвататься за карманъ и прыгать изъ окна. Хотя бы дѣло происходило въ пятомъ этажѣ! Нѣтъ-съ, вы попробуйте пойти къ здѣшнему капиталисту! Предложите ему «вложить деньги въ выгодное предпріятіе въ Россіи». Нѣтъ-съ, вы попробуйте! Ха-ха! Вы попробуйте!

— А что?

— Увидите интересный «рядъ волшебныхъ измѣненій милаго лица». При одномъ словѣ «Россія» поблѣднѣетъ, бѣднякъ, затрясется. А вы ему тутъ скажите: «Въ предпріятіи будетъ заинтересованъ графъ Иксъ». Подъ столъ полѣзетъ. «Окажетъ содѣйствіе князь Дзэтъ». Французъ еще, можетъ-быть, только на колѣни броситься: «Не грабьте, monsieur! У меня семья».

Но бельгіецъ, тотъ прямо къ окну кинется: «Городовой! Полиція! Вяжите!» Ха-ха-ха!

— Да въ чемъ же дѣло?

— Залежей беззаконія въ нашемъ отечествѣ не нашли. Такихъ богатыхъ, какъ ожидали. Вы помните, какъ мы ихъ дурачили! Мы ихъ «пріймти и владѣть» призывали. А имъ навстрѣчу,—вдругъ «законъ». Какъ deus ex machina, какъ статуя командора—законъ! «Нельзя, закономъ воспрещено». Персонажъ, о существованіи котораго и не подозрѣвали. Слагаемое, на отсутствіе котораго именно—хе-хе!—и разсчитывалось. Вы ѣхали въ Олонецкую губернію. Думали встрѣтить,—ну, медвѣдя. Взяли рогатину. А вамъ навстрѣчу—слонъ! Нужно было видѣть, какія рожи строились въ то катастрофное время. Ха-ха-ха! Думали грабить,—самихъ нагрѣли. Человѣкъ предполагаетъ, Богъ располагаетъ. Въ анекдотическую страну, въ страну исключеній ѣхали,—съ самими анекдотъ случился. «Незаконно. Нельзя».—«Какъ незаконно? Какъ нельзя? Какой можетъ быть законъ, если въ моемъ предпріятіи самъ графъ Дзетъ заинтересованъ. Прогорѣлый потомокъ стариннаго рода! Учредительскія акціи взялъ. У него знакомства! Какой такой законъ у васъ при такихъ знакомствахъ сильнѣе графа Дзэта можетъ быть?»—«Законъ. Нельзя». Тутъ эти всѣ группы на насъ, на Каталажкиныхъ, на смѣлыхъ предпринимателей бросились: «Что намъ какія-то сказки разсказываютъ? Какіе та-

кïе законы у васъ вдругъ проявились? Вы намъ говорили, что нѣтъ никакихъ законовъ, есть одни исключенïя изъ законовъ». Жарко въ тѣ времена пришлось. Меня одинъ бельгïйскïй капиталистъ, на что гражданская натура, застрѣлитъ даже хотѣлъ. Три раза палилъ, два зеркала разбилъ. Плохо стрѣляютъ! Самому же потомъ за зеркала пришлось платить. Въ ресторанѣ было! «Разорилъ!» кричитъ. Это что ограбить-то не удалось. А я,—вижу, плохо человѣкъ стрѣляетъ,—говорю: «А вы по зеркаламъ не палите! Еще больше разоритесь!» А другой мой клïэнтъ, французскïй капиталистъ, тотъ съ ума сошелъ. Манïя преслѣдованïя. Забьется подъ столъ и кричитъ: «Законъ! Законъ!» Все вездѣ ему законъ чудился. «Преслѣдуетъ меня, — вопïетъ, — законъ по пятамъ. Гонится. Душитъ. Я отъ закона изъ Францïи сбѣжалъ. Потому мнѣ, благодаря закону этому самому, больше двухъ процентовъ на капиталъ не заработать. Я въ Россïю отъ закона сбѣжалъ. А онъ и тамъ очутился. Руки мнѣ вяжетъ! Спасите! Законъ!» Ха-ха-ха.

— Вы оттого и померли?

— Чтобъ не приставали. Шарахнетъ еще кто-нибудь съ безумныхъ глазъ изъ бывшихъ клïэнтовъ, изъ капиталистовъ-то этихъ. А тутъ,—

умеръ Каталажкинъ. Самъ застрѣлился. Прокляли и успокоились!

— Жарко было?

— Адъ-съ. Втравленные капиталисты по Петербургу какъ отравленныя крысы метались. «Гдѣ графъ Иксъ? Гдѣ князь Игрекъ? Гдѣ баронъ Дзетъ?» — «Какъ же, графъ? Что жъ это такое? Развѣ мы на то шли? Никакихъ насильственныхъ отчужденій, никакихъ отнятій земель! Ничего не разрѣшаютъ!» А графъ Иксъ улыбается имъ такой свѣтлой улыбкой. Какъ ангелъ! «Что дѣлать, messieurs, законъ!»—«Да вѣдь этотъ законъ васъ, графъ, самого по карману бьетъ. Вѣдь этакъ наши акціи подъ гору летятъ! А у васъ учредительскія. Отмѣните, графъ, законы. Хлопочите, чтобъ отмѣнили!» А графъ удивленно такъ смѣется: «Какъ же я, messieurs, о полной отмѣнѣ законовъ буду хлопотать. Да меня всякій, къ кому я обращусь, за сумасшедшаго приметъ! Въ моемъ отечествѣ есть законы,—и они будутъ! Законы полезны. А что касается учредительскихъ акцій, то я ихъ давнымъ-давно, еще тогда, когда вы ихъ на биржѣ взмылили, всѣ продалъ!» Тутъ вой поднялся, тутъ вой! На незнакомыхъ русскихъ вовлеченные иностранцы кидались: «Какъ вы смѣете законы имѣть?» Волосы на себѣ рвали:

«Работать своими капиталами въ предѣлахъ законности?! Да это мы могли и у себя дома дѣлать! Зачѣмъ тогда было и въ Россію ѣхать?! Зачѣмъ учредительскія акціи раздавать? Зачѣмъ гг. Каталажкинымъ бѣшеныя деньги за то, чтобъ «свели», платить?! «Очень, словомъ, тогда сердиты были, что ограбить не удалось! И весьма надъ прахомъ покойнаго и незабвеннаго друга моего Каталажкина сквернословили!

— Ну, да вѣдь и вы... то-есть, я хотѣлъ сказать, вѣдь и вашъ покойный другъ Каталажкинъ... тоже...

Г. «Омлетскій» отвѣтилъ съ ясностью:

— Взялъ-съ! Взялъ незабвенный другъ. И не столько взялъ, сколько втравилъ. Тысячи взялъ, а на милліоны втравилъ! И миръ его праху. Они предпріимчивы, и онъ предпріимчивъ. За анекдоты о Россіи тысячи взялъ! За анекдоты! Шутка? А? Не геніально? Они «залежи беззаконія» у насъ думали разрабатывать. Грабить, потому «съ протекціей все можно». А покойный другъ самъ у нихъ «залежи невѣжества» разработалъ. Сами виноваты! Не довольствуйся, будучи просвѣщеннымъ человѣкомъ, о Россіи одними анекдотами!

И онъ принялъ молодецкій видъ:

— Есть на землѣ справедливость! Есть! И подлецы на свѣтѣ для того, можетъ-быть, существуютъ, чтобъ судьбѣ было чрезъ кого свои приговоры справедливости въ исполненіе приводить!

— Справедливость чрезъ подлецовъ?

— Какъ правосудіе чрезъ палачей. Развѣ въ палачи берутъ хорошихъ людей? И судьба беретъ подлецовъ для грязной работы: для исполненія приговоровъ справедливости!

— Ну, а теперь что?

— Что теперь?

— Такъ и водите иностранцевъ по скверными мѣстамъ? Отъ всякой другой дѣятельности отказались?

«Бывшій Каталажкинъ» пожалъ плечами:

— Такъ и придется до конца дней. Ежели бы я еще китайцемъ или тамъ малайцемъ какимъ былъ, — тогда другое дѣло.

— Почему китайцемъ? Почему малайцемъ?

— Сталъ бы европейскіе капиталы на грабежъ въ Китай или въ Индо-Китай звать. Теперь туда стремленіе. Вы помните, какъ иностранные капиталы изъ Россіи бѣжать кинулись? Какъ французы въ 12-мъ году. Бросали все, свои акціи за безцѣнокъ продавали. Только бы хоть что выручить. И все въ Китай, все

въ Индо-Китай кинулось. Тамъ строить, заводить, устраивать, копать, рыть! На официальномъ языкѣ биржъ это называется: «отливомъ европейскихъ капиталовъ на дальній востокъ». А почему отливъ? Почему сначала къ намъ бѣшеный приливъ былъ, а потомъ на дальній востокъ отливъ? Все это поиски капитала за беззаконіемъ. Думали у насъ «залежи беззаконія» найти: «вотъ гдѣ можно что угодно дѣлать». Осѣклись, — въ Китай ринулись: «Вотъ гдѣ истинныя залежи беззаконія. Вотъ гдѣ ихъ разрабатывать! Вотъ гдѣ все разграбить возможно!» Ищетъ стѣсненный дома европейскій капиталъ беззаконныхъ странъ, гдѣ бы «всеможно». Ищетъ!

И «бывшій Каталажкинъ» въ раздумьѣ произнесъ:

— Нешто голову обрить да косу отпустить?! Скулы у меня выдающіяся. Прикинуться китайцемъ и начать европейскимъ капиталистамъ свое китайское отечество продавать?!

Мы встали.

— Каталажкинъ!—воскликнулъ я.—Еще одинъ вопросъ... Каталажкинъ! Давно меня мучитъ... Вы не сердитесь...

— Спрашивайте.

— Каталажкинъ... скажите... не видалъ ли я васъ... Не были ли вы... ну, словомъ, не были ли

вы на Сахалинѣ? Не встрѣчалъ ли я васъ въ Онорской тюрьмѣ?

Каталажкинъ задумался, подумалъ и отвѣтилъ:

— Нѣтъ! Не припоминаю. Нѣтъ! Съ положительностью могу вамъ отвѣтить: на Сахалинѣ я не былъ.

Онъ взялъ сорокъ франковъ, поблагодарилъ и пошелъ.

X.

Катастрофа въ Китаѣ.

Насталъ 1900-й годъ. Конецъ вѣка. Годъ всемірной выставки въ Парижѣ, торжества міра и мира, а вмѣстѣ съ тѣмъ «китайскихъ событій» и кроваваго, безпощаднаго, безумно-жестокаго «укрощенія строптивыхъ».

Я былъ тогда въ Лондонѣ.

Разъ какъ-то одинъ изъ моихъ знакомыхъ англичанъ предложилъ:

— Не хотите ли отправиться сегодня въ нашъ клубъ? Предстоитъ кое-что любопытное. У насъ будетъ сегодня... китайскій революціонеръ.

— Китайскій революціонеръ? Это не каждый день увидишь!

Англичанинъ съ презрѣніемъ пожалъ плечами:

— То-естъ это по-ихнему онъ революціонеръ. А съ нашей точки зрѣнія, — нагрубилъ просто какому-то мандарину и долженъ былъ бѣжать. У насъ-то и мандаринъ-то этотъ извѣстенъ. Больше, по сообщеніямъ «Gil-Blas» и другихъ кокоточныхъ парижскихъ газетъ. «Просвѣщенный мандаринъ» бывалъ съ какими-то миссіями въ Европѣ и прославился тѣмъ, что любитъ, чтобъ его кокотки били по щекамъ.

— Любитъ?

— Очевидно, особенность китайскихъ вкусовъ. Онъ самъ заявлялъ это корреспонденту какой-то кокоточной газеты въ Парижѣ, когда тотъ явился интервьюировать его по вопросу: «Доставляетъ ли удовольствіе боль въ любовныхъ удовольствіяхъ?» Онъ отвѣтилъ, что очень любитъ, чтобы парижскія кокотки хлестали его по щекамъ. Во-первыхъ, это ему льститъ, — съ высшими представительницами цивилизаціи — съ самими кокотками! — за панибрата. А во-вторыхъ, онъ сказалъ: «въ Китаѣ я всѣхъ бью, а здѣсь меня бьютъ. Это доставляетъ мнѣ смѣну и новизну ощущеній». Тогда еще этотъ отвѣтъ «просвѣщеннаго» китайскаго

мандарина обошелъ всѣ газеты. Вотъ этому-то ничтожеству и нагрубилъ чѣмъ-то Тунъ-Ли. И долженъ былъ бѣжать. Идемъ. Это любопытно. Онъ отлично говоритъ по-англійски и будетъ разсказывать о китайскихъ дѣлахъ.

Въ огромной читальнѣ респектабельнаго клуба было на этотъ разъ цѣлое засѣданіе.

Сидѣла масса народу, и взоры всѣхъ были обращены къ маленькому, невзрачному китайцу, въ синей кофтѣ, съ длинной косой, близорукому, въ очкахъ съ толстыми стеклами.

Мы опоздали.

Бесѣда уже началась. Китаецъ отвѣчалъ теперь на вопросъ:

— Откуда взялось движеніе боксеровъ?

На его желтомъ, скромномъ лицѣ не было ни малѣйшаго смущенія. Онъ говорилъ смѣло, и чѣмъ дальше, тѣмъ голосъ его звучалъ звонче и громче. Онъ обвинялъ. Онъ не оправдывался.

И все собраніе, нахмурясь, слушало его. Мрачно, недовольно, грозно, какъ слушаютъ люди правду.

— Вы считаете насъ варварами, а мы должны считать васъ благодѣтелями, которые несутъ намъ блага цивилизаціи! — китаецъ улыбнулся

улыбкой, въ которой было столько же печали, сколько и презрѣнія.

— Кстати! Интересно, почему вы считаете насъ варварами? Потому только, что вы не знаете нашего языка и не знакомы съ нашими науками? Потому что вы не умѣете читать по-китайски и не знаете, что напечатано въ нашихъ книгахъ? Согласитесь, это похоже на безграмотнаго извозчика, который считаетъ что въ книгахъ написаны однѣ глупости, потому что онъ не умѣетъ читать! Но оставимъ это въ сторонѣ. Пустъ мы варвары! Какія же блага несете намъ вы? Вы—иностранцы, носители культуры, цивилизаціи? Вы пользуетесь самыми худшими сторонами нашей жизни и ихъ культивируете. По вашему мнѣнію, въ Китаѣ нѣтъ законовъ, а есть произволъ. И на это вы играете, спекулируете. На это всѣ ваши надежды. Вы несете въ нашу страну свои капиталы, заводите грандіозныя предпріятія. И при этомъ когда-нибудь, какой-нибудь европеецъ далъ себѣ трудъ ознакомиться съ нашими законами, задался ли вопросомъ: «согласно ли то, что я дѣлаю, съ законами страны?» Да если вы зададите такой вопросъ любому европейскому предпринимателю,—онъ расхохочется. «Законы Китая!» По его мнѣнію, въ Китаѣ полное безза-

конїе. Это его и радуетъ, это его и привлекло. На беззаконїи основаны всѣ его замыслы, планы. Вы эксплоатируете эту дурную сторону, сторону жизни. И только ее. Вы развращаете нашихъ мандариновъ. «Съ ними я никакихъ законовъ знать не хочу». Попробуйте сказать любому предпринимателю, устраивающему самое эксплоататорское, самое убыточное для страны дѣло: «Но, милостивый государь, то, что вы предпринимаете, преступно. Это запрещено мѣстными законами». Онъ вамъ отвѣтитъ: «Въ моемъ предпрїятїи заинтересованы мандаринъ такой-то, мандаринъ такой-то, мандаринъ такой-то». И вы хотите, чтобы мы были вамъ благодарны? Вамъ, которые приходятъ только для того, чтобы пользоваться нашимъ безправїемъ, нашимъ, кажущимся вамъ, полнымъ отсутствїемъ даже чувства законности? Каждое изъ вашихъ предпрїятїй въ нашей странѣ, это—плевокъ чувству законности, каждое начинанїе—пощечина справедливости. И васъ удивляетъ, что люди вознегодовали на васъ, что они защищаются, какъ могутъ?

— Ну, ну!—раздался кругомъ ропотъ.—Защищать боксеровъ!

— Но хороши и мы!—съ улыбкой вздохнулъ кто-то.

А китаецъ смотрѣлъ на представителей культуры, на носителей цивилизаціи съ укоромъ, со скорбью, съ ненавистью, отвращеніемъ и непримиримой враждой.

XI.

Воскресшій Рокамболь.

Это было полгода тому назадъ, весной, въ Парижѣ.

Въ загородномъ ресторанѣ Арменонвиль было весело и шумно, какъ всегда за обѣдомъ.

Вечеръ выдался на рѣдкость—великолѣпный. Всѣ столы были заняты.

Только одинъ, около меня, роскошно сервированный, былъ пустой.

Около него стояли на стражѣ два лакея, чтобы кто-нибудь не взялъ вѣтки сирени или великолѣпной махровой розы, которыя ковромъ покрывали скатерть.

Вдругъ все зашевелилось.

— Monsieur le prince!

Стоявшіе на стражѣ лакеи, какъ сорвавшись съ цѣпи, бросились впередъ.

Метръ д'отель пятился спиной и приглашалъ

— Сюда, сюда, mon prince?

Шла цѣлая компанія роскошно разодѣтыхъ женщинъ, мужчинъ.

Впереди всѣхъ шелъ высокій господинъ, развязный, самоувѣренный, нагло глядѣвшій по сторонамъ.

Это былъ... Каталажкинъ.

— Сюда, mon prince! Вотъ столъ, приготовленный для васъ, mon prince!

Каталажкинъ небрежно оглянулся кругомъ. Взглядъ его упалъ на меня.

Онъ узналъ, лицо его вдругъ все засіяло настоящей радостью, онъ кинулся ко мнѣ и обѣими руками сжалъ мою руку:

— Вы?!

— Monsieur... monsieur...

— Каталажкинъ! Каталажкинъ, чортъ возьми! Прежній Каталажкинъ! Выше прежняго! А Омлетскій,—онъ расхохотался,—Омлетскій исчезъ, испарился безслѣдно, растаялъ гдѣ-то въ мерзкой атмосферѣ парижскихъ бульваровъ.

— Значитъ, появившееся тогда извѣстіе о безвременной кончинѣ Каталажкина было невѣрно?—разсмѣялся я.

Онъ отвѣтилъ хохотомъ:

— Это до такой степени неправда, что даже было напечатано въ газетахъ! Вы одинъ? Не

начинали обѣдать? Въ такомъ случаѣ мы обѣдаемъ вмѣстѣ. Нѣтъ, нѣтъ! Отказа быть не можетъ. Вы помните яичницу и бифштексъ, которые вы стравили на меня тогда въ тавернѣ Пуссэ?

— «Стравили»! Выраженье!

— Ну, да, стравили! Потому что я тогда не ѣлъ, а жралъ. И былъ не человѣкъ, а скотъ. Скотъ, дрожавшій отъ самой скотской боязни: «а не помру ли я съ голода?» Тфу! А все-таки та яичница и тотъ бифштексъ были вкуснѣйшими въ моей жизни. Я тогда давно не жралъ такъ хорошо! И эти сорокъ франковъ, которые вы дали мнѣ тогда! Конечно, я не рѣшаюсь возвратить вамъ ихъ деньгами. Это было бы мелочно и неблагодарно. Но шампанскимъ, но музыкой, но женщинами! Какая изъ тѣхъ, которыя со мной, вамъ нравится? Эта? Та? Любая! Гарсонъ, еще приборъ для monsieur. Mesdames, messieurs, мой знакомый! Можете пить, ѣсть, дѣлать что вамъ угодно. Я буду разговаривать со старымъ знакомымъ. Это гораздо интереснѣе!

— Однако, вы съ ними...

— Все прохвосты. Не обращайте на нихъ вниманія!—успокоилъ меня Каталажкинъ. — Околачиваются даже не около меня, а около моихъ денегъ.

— Monsieur le prince!

Толстый дирижеръ-румынъ, увидѣвъ Каталажкина, прервалъ въ серединѣ какой-то удивительно мелодичный вальсъ, подбѣжавъ, вертѣлся около и сгибался пополамъ, несмотря на свою феноменальную толщину.

— Что будетъ угодно приказать сыграть, mon prince?

— Брысь!—цыкнулъ на него Каталажкинъ.— Спроси у этихъ дамъ и играй, что онѣ тебѣ прикажутъ. Итакъ, — онъ налилъ водки, — здоровье Каталажкина, если вы позволите, и за упокой души покойника Омлетскаго! Не ждали, что воскресну?

— Откровенно говоря...

— Фениксъ!

— Чѣмъ же вы... если это не секретъ, конечно... чѣмъ же вы теперь занимаетесь?

Каталажкинъ отвѣтилъ просто, ясно и спокойно:

— Продаю въ розницу мое отечество.

— Какъ? Опять?

Онъ молча утвердительно кивнулъ головой.

— Кому же?

— Въ Америкѣ.

— Экъ, куда васъ метнуло!

— Случайность! Счастливая случайность! — отвѣчалъ Каталажкинъ, уплетая свѣжую икру.— Могу сказать: какъ Христоферъ Колумбъ, открылъ Америку. И какъ Христоферъ Колумбъ, совершенно случайно. Впрочемъ, Америку только и можно открывать, что случайно!

— Любопытно...

— Было бы узнать? Никакого секрета.

И, быстро и жадно поглощая блюдо за блюдомъ, онъ разсказалъ:

— Вы помните бѣднягу Омлетскаго, котораго вы изъ жалости накормили тогда бифштексомъ? Не отрицайте! Бѣдняга, дѣйствительно, ничего, кромѣ жалости, не могъ внушать. Былъ голоденъ, околѣвалъ, и если укралъ, то изъ голода.

— Укралъ?

— Омлетскій? Кончилъ тѣмъ, что укралъ! Самымъ грубымъ, самымъ грязнымъ, самымъ вульгарнымъ образомъ укралъ!.. Вы не обращайте на меня вниманія, что я не ѣмъ, а жру. Отвратительно сталъ ѣсть. Словно у меня отнимутъ. Тороплюсь. Это съ тѣхъ поръ, со времени Омлетскаго. Итакъ, Омлетскій укралъ. Сопровождая какого-то любопытнаго туриста въ качествѣ опытнаго гида—помните его профессію?—по скернымъ мѣстамъ, напоилъ «типа»

до положенья ризъ и свистнулъ бумажникъ. Свистнулъ,—и прямо въ закусочную. Купилъ полъ-омара и тутъ же на улицѣ слопалъ. До такой степени былъ, подлецъ, голоденъ. Нда-съ, времена, чтобъ ихъ чортъ взялъ!

Каталажкинъ посмѣялся.

— Ну-съ, послѣ такого происшествія, вы сами понимаете, въ Парижѣ оставаться было неудобно. У нихъ насчетъ такого грубаго присвоенія собственности строго-съ. Особенно, ежели иностранецъ попался. Еще своего, француза, присяжные могутъ кое-какъ оправдать, хотя и этого почти никогда не бываетъ. Лучше ужъ убей, но только денегъ не бери. Это дороже! Но ежели иностранецъ,—нѣтъ ему никакого оправданія. Потому иностранецъ долженъ сюда ѣздить съ деньгами, а не за деньгами. Въ такой вѣрѣ воспитаны. Словомъ, дѣло Омлетскаго дрянь. А тутъ чужой бумажникъ въ карманѣ. Омлетскій—скокъ на первый отходящій поѣздъ,—въ Кале, въ Англію, въ Ливерпуль, на пароходъ и въ Америку.

— Много было у васъ... у Омлетскаго съ собой денегъ?

— Не особенно! Пьяная каналья не любилъ съ собой много таскать. Однако, тысячи четыре франковъ.

— Однако!

— При американской-то дороговизнѣ жизни? Шутите! А въ Америкѣ не украдешь. То-есть украсть-то украдешь, но въ тюрьмѣ на всю жизнь похоронятъ. Замуравятъ—и умеръ. Тошно стало Омлетскому. Ходитъ: «къ какому бы занятію себя пристроить?» И вотъ однажды, во время такихъ скитаній, проходитъ Омлетскій мимо книжнаго магазина и въ окно глазѣетъ. На окнѣ книга: «Россія. Описанія очевидца». Омлетскій же говорилъ и читалъ и писалъ по-англійски. Потому что прежде когда-то, въ скверные годы, въ Англіи живалъ. «Дай,—думаетъ,—куплю книгу. Можетъ, о Россіи что новое прочту. Кстати, и въ англійскомъ языкѣ практика». Купилъ, пришелъ домой, началъ читать и возмутился. Чортъ знаетъ, что такое! Авторъ въ Москвѣ на торжествахъ былъ корреспондентомъ отъ нью-йоркской газеты и такое о Россіи, въ качествѣ очевидца, городитъ! Такое городитъ! Довольно вамъ сказать, что въ книгѣ картинки приложены. Фотографія. Фотографія черкеса во всеоружіи,—подписано: «Русскій дворникъ въ Москвѣ». Фотографія какой-то опереточной пѣвицы изъ малороссійской труппы. Юбка до колѣнъ и ноги въ трико. Подписано: «Горничная въ московской гостиницѣ». Зло меня... то-есть Омлет-

скаго взяло. Потому что былъ Омлетскій все-таки патріотъ. «Надо,—думаетъ,—этого подлеца-автора, что о Россіи небылицы пишетъ, разыскать. Все поругаюсь. А то въ англійскомъ языкѣ никакой практики нѣтъ. Да и знакомство все-таки пріобрѣту. Хоть и черезъ руганъ. А тамъ, можетъ, я ему понравлюсь. Въ репортеры хоть, что ли, опредѣлитъ!» Взялъ и пошелъ. Явился въ редакцію, отъ которой авторъ корреспондентомъ ѣздилъ. Спросилъ его. Выходитъ здоровый, этакій, дядя. Пожилой и видъ приличный. «Что вамъ угодно?»—«Ваша, молъ, книга?»—«Моя».—«Ну, такъ я русскій и объяснится пришелъ!» Посмотрѣлъ съ удивленіемъ. «Въ чемъ же,—говоритъ,—дѣло?»—«Послушайте. Вы были въ Россіи, вѣдь вы видѣли своими глазами, что ни такихъ дворниковъ ни такихъ горничныхъ нѣтъ. Зачѣмъ же такую ерунду печатать?» Какъ расхохочется этотъ самый авторъ: «А это,—говоритъ,—по требованію публики!»—«Какъ по требованію публики?»—«Нашей американской публики, мистеръ. Какой же чортъ, хотѣлъ бы я знать, станетъ книгу покупать, если о Россіи только то, что есть, написать? У всякой публики, мистеръ, есть свои запросы,—и всякая публика, мистеръ, имѣетъ право на то, чтобъ ея запросы удовлетворялись. Мы, американцы,

мистерЪ, ничего о Россіи, кромѢ анекдотовЪ, не знаемЪ и ничего, кромѢ анекдотовЪ, о ней слушатЬ не желаемЪ». И лишЬ онЪ это сказалЪ,— Омлетскій исчезЪ.

— КакЪ исчезЪ?

— Изголодавшійся, растерявшійся, не знающій, что ему дѢлатЬ, куда сунутЬся, за что взятЬся, Омлетскій мгновенно умерЪ, исчезЪ. И вмѢсто него передЪ американскимЪ корреспондентомЪ стоялЪ КаталажкинЪ. СамЪ КаталажкинЪ. КаталажкинЪ воскресЪ. ГарсонЪ, шампанскаго! ВыпьемЪ же за упокой души бѢднаго Омлетскаго, и чтобЪ о немЪ больше не упоминатЬ!

— За упокой его души.

— Рыбу бросили въ воду! ВотЪ гдѢ еще анекдотЬ о Россіи могутЪ имѢтЬ цѢну! И черезЪ мѢсяцЪ, милостивый государь мой, я, КаталажкинЪ, бесѢдовалЪ съ американскими капиталистами,—чортЪ ихЪ обдери,—о разработкѢ мѢдныхЪ рудниковЪ въ одной изЪ губерній и о проведеніи по сему поводу подъѢздныхЪ путей! КапиталЪ—20 милліоновЪ долларовЪ. Знай нашихЪ! ВЪ АмерикѢ любятЪ все en grand. За здоровье Америки! Hipp, hipp, hourra!

— И вѢрили?

— Ежели я имъ анекдоты о Россіи разсказывалъ! Какъ же не повѣритъ? «Въ чьей землѣ руда?»—«Въ крестьянской!» — «А какъ же достать?»—«Отнимутъ!» Какой-то знающій нашелся: «Тамъ, у васъ, читалъ я гдѣ-то, учрежденіе такое есть... зем... зем... Оно не вступится?» — «Земство? Упразднятъ. По такому случаю упразднятъ!» И всѣ американцы кругомъ въ восторгѣ: «Вотъ это по-русски». Ежели кто про законъ, я имъ такихъ анекдотовъ наскажу! Въ газетахъ интервью со мной печатаютъ: «Пріѣхавшій изъ Россіи предприниматель. — Новое поле дѣятельности для Америки.—Запретъ ни въ чемъ.—Полная свобода.—Иностранецъ, дѣлай что хочешь. — Новые анекдоты про Россію. — Предпріятіе, въ которомъ заинтересованы князь Иксъ, графъ Игрекъ, баронъ Дзетъ». Я знаменитость. Меня всѣ съ распростертыми объятіями: «Свое отечество человѣкъ въ розницу продаетъ».

— Позвольте, да это повтореніе того же, что было семь лѣтъ тому назадъ въ Парижѣ и Брюсселѣ?

— Точное!

Каталажкинъ захохоталъ:

— Только шире, только наглѣе. Потому что американцы насчетъ насъ еще болѣе невѣже-

ственны, чѣмъ гг. европейцы. Вы обратите вниманіе! Какъ за послѣднее время американскіе капиталы къ намъ кинулись. На нефть, на мѣдь, на метрополитены,— на все идутъ. Какая уйма русскихъ предпринимателей тамъ орудуетъ. Почему тамъ? Потому что въ Европѣ горькимъ опытомъ въ эти анекдоты разучились вѣрить, а въ Америкѣ еще вѣрятъ. «Страна исключеній». Городское самоуправленіе? Городское самоуправленіе для васъ, въ видѣ исключенія, уничтожатъ. Земство? И земство, въ видѣ исключенія, для васъ. Частная собственность? И частную собственность по боку! Когда-то и западно-европейскіе капиталисты на это шли. Но теперь, если такую вещь западно-европейскому сказать, онъ «увы! нѣтъ!» скажетъ и подъ столъ отъ страха спрячется. А Америка еще не искушена!

— Но вѣдь и Америка, Каталажкинъ, горькимъ опытомъ дойдетъ, что все, на что ее русскіе «энергичные предприниматели» зовутъ,— анекдоты?

— Будетъ время—дойдетъ,—весело тряхнулъ головой Каталажкинъ, — а пока поживемъ!

Глаза его, какъ и встарь, безпокойно бѣгали съ предмета на предметъ и съ нѣжной тепло

той остановились на брильянтовой брошкѣ одной изъ этихъ дамъ.

— Какая у нея брошка!—сладострастно шепнулъ мнѣ Каталажкинъ.—Вотъ бы...

Но тотчасъ же расхохотался и, хлопнувъ меня по колѣну, успокоилъ:

— Не бойтесь. Это я такъ. Пока не нужно!

Джентльмены.

(новое поколѣніе купечества.)

I.

Въ недалекомъ будущемъ.

Давненько я не бывалъ въ Москвѣ. А пріѣхалъ, — прямо, какъ писателю и подобаетъ,— по знакомымъ купцамъ отправился.

Нынче это принято, и даже самъ П. Д. Оборыкинъ, какъ въ Москву прибудетъ, сейчасъ по знакомымъ купцамъ «за типами» ѣдетъ.

Теперь всѣ ѣздятъ «къ купцамъ за типами», какъ прежде ѣздили «къ купцамъ за товаромъ».

Со временемъ, вѣроятно, въ пустующихъ городскихъ рядахъ особая «беллетристическая линія, или «типный рядъ» откроется:

— Самые модные въ литературѣ купеческіе типы новѣйшихъ фасоновъ.

И даже зазывать въ этомъ «типномъ рядѣ»

будутъ, какъ зазывали въ—блаженной памяти—Ножовой линіи:

— Господинъ, пожалуйте! Типы есть для романовъ, повѣстей, разсказовъ! Самые новѣйшіе типы! Послѣдней формаціи!

— Къ намъ, господинъ, пожалуйте! У насъ самъ господинъ Боборыкинъ, Петръ Дмитріевичъ, типы берутъ.

— Господинъ! У насъ господинъ Немировичъ-Данченко покупали!

— Это какой же Немировичъ-Данченко? Василій Ивановичъ?

— Никакъ нѣтъ-съ. Тѣ по испанской части. А братецъ ихній, Владимиръ Ивановичъ. Допрежде они въ званіи «писательскаго брата» проживали,—вотъ какъ «купеческіе племянники» бываютъ. А потомъ сами въ первой гильдіи драматурги вышли. Братецъ-то ихній Испаніей завладѣли,—а Владимиру Ивановичу судьбой Замоскворѣчье дадено: «живописуй»! Пожалте-съ!

— Къ намъ, господинъ! Поставщики князя Сумбатова! У насъ Сумбатовъ князь, они же Южинъ, Александръ Ивановичъ, для «Джентльмена» купеческіе типы брали-съ. Очинно остались довольны! Пожалте! Благодаритъ будете!

— Да у васъ какіе же, собственно, типы имѣются?

— Разные типы есть. Самый пестрый, можно сказать, купец! На всякій скус. Вот, например, вам, может, архитектурный купец не понравится ли-с?! Послѣдняя, можно сказать, новинка-с.

—То-есть какъ же это: архитектурный купецъ?

— По архитектурной части у него цивилизація обнаружилась.

— Да вы о цивилизаціи, милѣйшій, словно о золотухѣ выражаетесь!

— Такъ точно-съ?! Не извольте безпокоиться. У купца оно сходственно. Какъ, напримѣръ, золотуха: одному она въ голову ударитъ, у другого въ ногѣ обнаружится. Такъ точно и цивилизація. У одного она въ одно ударитъ, у другого въ другое. У этого, напримѣрича, она въ архитектурѣ обнаружилась. Тятенька-то ихній въ двухъэтажномъ домикѣ жили и даже о томъ не думали, какъ бы мезонинчикъ надстроить. Да такъ и померли, до мезонина не додумавшись. А сынокъ теперича, какъ отъ дикости да отъ сѣрости онъ ужъ отошелъ, — въ архитектуру вдарился и все вавилоны строитъ.

— Какъ вы говорите? Что строитъ?

— Вавилоны-съ. Потому никакъ иначе ихнихъ построекъ не назовешь. Многіе даже, и изъ уче-

нѣхъ, архитекторы съ ума посходили, на ихъ постройки глядючи!

— Ну, ужъ вы и скажете: «съ ума посходили!»

— Такъ точно-съ. Потому нельзя безъ умопреступленія на ихъ постройки смотрѣть. Въ головѣ круженіе-съ дѣлается. Домъ не домъ, крѣпостъ не крѣпостъ, кирка не кирка,—а такъ, вообще,—вавилонъ! Опять же стиль: рококо не рококо, а на рококу смахиваетъ, хоша и древне-русскаго стиля какъ будто что-то есть. Такъ-съ, помѣсь рококи съ древне-русскимъ. Весьма достопримѣчательный вавилонъ!

— Кто же этотъ «достопримѣчательный стиль»,—рококо съ древне-русскимъ, выдумалъ?

— Сами-съ. Сами, своимъ умомъ дошли. «Желаю, — говоритъ, — въ замкѣ необнакновенномъ жить!» Ну, и выстроили, какъ понеобыкновеннѣе, Что жъ, денегъ-то у нихъ было! Только чудно! Съ нѣмцемъ тутъ случай вышелъ...

— Съ какимъ нѣмцемъ?

— Изъ-за границы нѣмца выписали, ученый страхъ! Чтобъ, стало-быть, стиль опредѣлить, въ какомъ домѣ выстроенъ. Потому здѣшнїе-то архитектора, докладываю вамъ, съ ума сходили, а стиля назвать не могли.

— Ну?

— Привезли этого самаго нѣмца. Нѣмецъ смотрѣлъ-смотрѣлъ, — и такъ зайдетъ — посмотритъ, и этакъ зайдетъ—поглядитъ. «Зданіе,— говоритъ,—изумительное! И не только въ архитектурномъ отношеніи, но и въ историческомъ! Ибо строилъ его не кто иной, какъ царь Навуходоносоръ, когда съ ума сошелъ! Это зданіе охранять надо».

— Ну, и что же?

— Дали нѣмцу пять тысячъ цѣлковыхъ, чтобъ молчалъ,—да въ тотъ же день его курьерскимъ домой и отправили, чтобъ по Москвѣ про Навуходоносора не звонилъ. Этому архитектурному купцу не въ наши бы времена, а при построеніи Вавилонской башни жить. То-то бы онъ тамъ дѣловъ надѣлалъ! Купецъ сурьезный!

— Нѣтъ, ужъ Богъ съ нимъ, съ архитектурнымъ купцомъ! Нѣтъ ли у васъ другого чего?

— Музыкальный купецъ есть. Тоже вещица занятная. Или вотъ еще драматическаго купца не угодно ли-съ? Самая послѣдняя новость! Только что вышелъ-съ. Еще ни въ одномъ романѣ, ни въ одной повѣсти такого нѣтъ-съ.

— Ну, а по дамской части у васъ что-нибудь есть? Дамскіе купеческіе типы имѣются?

— Никакъ нѣтъ-съ. Дамскаго товару не держимъ-съ.

— Мессалинъ, напримѣръ, изъ первой гильдіи купчихъ?

— Это, пожалуйте, въ перинной линіи-съ.

Столь великъ интересъ, возбуждаемый новѣйшимъ; «полированнымъ» купечествомъ,—что со временемъ непремѣнно такая «типовая линія» спеціально для гг. беллетристовъ откроется.

Ну, а теперь пока «братьямъ-писателямъ», пишущимъ «самоновѣйшихъ типовъ», приходится просто по купцамъ ѣздить.

II.

Членъ 10 учебныхъ обществъ и замоскворѣцкая «плясавица».

Первымъ долгомъ къ Петру Титычу Орускову заѣхалъ. Пріятели: вмѣстѣ въ гимназіи учились.

Позвонилъ. Выходитъ горничная.

— Дома Петръ Титычъ?

— Дома-то дома, а только они шибко заняты: книги рвутъ-съ.

— Какъ книги рветъ?

— Такое у нихъ обнакновенье. Какъ прочтутъ

книжку, такъ сейчасъ ее на мелкïе клочки и издерутъ-съ. А то по забывчивости могутъ въ другой разъ одну и ту же книжку прочесть. А это конфузъ! Тутъ у нихъ съ Боклемъ междометïе вышло. Взяли они Бокли-книгу и начали читать. Читали-читали, да вдругъ какъ объ полъ изо всѣхъ силъ бросятъ: «что жъ онъ,— говорятъ,—балбесъ пишетъ? Да я все это знаю, что онъ пишетъ! И выходитъ онъ—Боклъ, послѣ этого дуракъ!» И даже гдѣ-то въ ученомъ обществѣ этакъ про Бокля-книгу выразились. Неловко-съ, а на повѣрку-то оказалось, что они Бокля во второй разъ взяли читать. Потому имъ и показалось, что Бокля-то пишетъ, это Петръ Титычъ и безъ него знаютъ! Съ тѣхъ поръ они и постановили себѣ за правило: какъ книгу прочтутъ, сейчасъ ее въ мелкïе клочки рвать. Чтобъ больше не попадалась! Во избѣжанïе междометïя!

— Скажите! Да и вы про Бокля знаете?!

Горничная покраснѣла, потупилась и кокетливо улыбнулась.

— Какъ же-съ! Петръ Титычъ тутъ одно время-съ народъ просвѣщали-съ. Позовутъ насъ, т.-е. людей, меня да повара, да прачку, да кучера, сами сядутъ, съ профессоромъ коньякъ пьютъ и лимономъ закусываютъ, а понамаръ

намъ Бокля аль-бо Спенсера читаетъ. Но только потомъ бросили, потому докторъ имъ коньякъ пить запретили, да къ тому же они и профессора прогнали.

— Какого профессора?

— Не извольте безпокоиться, не изъ университету. Т.-е. баринъ-то раньше думали, что они изъ университету. А на повѣрку они вышли профессоромъ кислографіи,—вотъ что разной рукой на вексельной бумагѣ пишутъ.

— Каллиграфіи?

— Вотъ, вотъ! Ей самой! И они же послѣ при ихъ искусствѣ баринову подпись на векселѣномъ бланкѣ поддѣлали. Баринъ ихъ и въ шею! Тутъ и всему нашему образованію — крышка.

— Ну, хорошо. Баринъ книгами занятъ. А барыня дома?

— Вамъ которую? Ежели старую, такъ та наверху сидитъ и плюется. А молодая въ «Стрѣльну» уѣхала.

— Что ты, матушка, мелешь? Кто плюется? Какъ барыня днемъ, одна, въ «Стрѣльну» поѣхала?

— Такъ точно-съ. На урокъ поѣхали. Учатся онѣ тамъ!

— Въ «Стрѣльнѣ»?!

— Въ ей, въ самой. Плясать по-цыганскому онѣ обучаются. Къ балу себя готовятъ. Балъ такой будетъ,—купцы и купчихи первостатейные на манеръ цыганъ пляшутъ, а публика, которая состояньемъ поплоше, въ ладоши хлопаетъ. На это самое старая барыня въ антресоляхъ сидятъ и плюются. «Плясавица!» говорятъ. Чудно! Тутъ цивилизація, а снѣ этакія старыя слова!

— Ну, ладно, матушка! Ты что-то такое болтаешь, и не разберешь. Пойди-ка, доложи своему барину, онъ хотъ и очень книгами занятъ, но меня приметъ: старые пріятели!

Петръ Титычъ принялъ меня съ распростертыми объятіями.

— А, другъ сердечный, тараканъ запечный! А я тутъ съ книгами вожусь. Сейчасъ, дай только Дарвина дорвать, — мы съ тобой портеру шарахнемъ. Одинъ Дарвинъ только и остался.

Передъ нимъ лежала куча изодранныхъ книгъ.

— Эй, Акулина! Собирай премудрости на помойницу, а намъ сынъ портеру! Не велитъ маменька-старуха лакеевъ въ домѣ держать. Во фракахъ они ходятъ, — такъ, говоритъ, на чертей похожи: «съ хвостами!» Приходится, по-старому, горничными пробавляться. Ну, ты какъ?

— Да я что! Ты про себя разскажи. Ты что? Какъ? Съ кѣмъ?

— Я то? Я, братъ, съ ученьми! Пьемъ!

Петръ Титычъ даже за голову схватился.

— Страсть какъ пьемъ! Хотя удовольствія настоящаго все же нѣтъ!

— Да что жъ это за занятіе такое: съ ученьми пить?! Ну, я понимаю: съ цыганками пить, съ пѣвичками отъ Омона, но почему жъ непремѣнно съ ученьми?

— Наслѣдственность!

Петръ Титычъ даже вздохнулъ.

— Наслѣдственность? Вонъ даже въ Дарвинѣ, котораго я только что прочиталъ, это напечатано: «наслѣдственность»! Тятенька мой, царство ему небесное, какъ бывало на нихъ запойная полоса найдетъ, все компанію поученѣй себя трафятъ: приказнаго, понамаря. Для тятеньки и это ученый народъ былъ. Ну, а мнѣ ужъ профессора нужны. Прогрессъ!

— Да неужто жъ ты себѣ такихъ профессоровъ находишь?

— То-то и оно-то! Найтить трудно! Найдешь: «профессоръ!» И на карточкѣ визитной значится: «профессоръ». А онъ окажется профессоръ-то...

— Каллиграфіи?

— Это тебѣ Акульку сказала? Безпремѣнно она, подлая деревня! Не можетъ всего не выболтать. Мало я ее боклемъ билъ!

— Почему непремѣнно боклемъ?

— Боклъ толще. Я всегда, когда кого бить, къ боклю прибѣгаю. Боклъ—нравоучительный. Придется ее еще энциклопедіей звизданутъ для ума.

— «Книга для наружнаго употребленія». Такъ на профессоровъ жалуешься?

— Нѣтъ настоящаго профессора! А ужъ какъ бы, я тебѣ скажу, хотѣлось настоящаго профессора споить. Ну, хоть одного бы! Вѣдь есть же и между ними пьющіе. А вотъ, на мой грѣхъ, не найду! А ужъ я бы для него, кажется, птичьяго молока не пожалѣлъ! Отъ «Яра» бы не уходилъ: только пей, сдѣлай такое одолженіе!

— Да зачѣмъ же тебѣ?

— Лестно! «Гдѣ, — спросятъ, — вчера былъ?» Да такъ, съ профессоромъ такимъ-то, имя рекъ, опять нахлестались! «Ого, — скажутъ, — съ какимъ народомъ они друзья-пріятели». Опять же умретъ профессоръ въ скорости. Тѣ станутъ спрашивать: съ чего да съ чего? «Все, — скажутъ, — пьянство съ Петромъ Титычемъ Брусковымъ довело!» А мнѣ и лестно: вотъ, молъ, какіе люди со мной пьютъ! Пріятно! Эхъ, не то теперь время! Народу нѣтъ! Прежде, бывало!

Знаменитость на знаменитости, и все пьющіе. А теперича гдѣ онѣ, знаменитости? Выпить не съ кѣмъ! Правду говоритъ Нордау Максъ, котораго я вчера разорвалъ: «вырожденье»! Вырожденье и есть! Прежде-то, прежде! Одинъ вонъ какого музыканта споилъ!

Петръ Титычъ назвалъ фамилію знаменитаго музыканта, котораго, дѣйствительно, сгубилъ одинъ изъ московскихъ меценатовъ.

— Черезъ другого опереточный пѣвецъ голосъ потерялъ!—Петръ Титычъ назвалъ фамилію знаменитаго опереточнаго пѣвца, дѣйствительно, потерявшаго голосъ «черезъ купцовъ». — Онъ хоть и опереточный пѣвецъ былъ, а любому профессору не уступилъ бы. Его еще побольше, чѣмъ профессоровъ, знали. Потому въ университетѣ не всякій былъ, а въ оперетклѣ былъ всякій. Это было время! Съ кѣмъ пилъ? Сказать было лестно: «съ такимъ-то? Имя! Два дня безъ просыпа пропить было можно, чтобъ такое имя произнесть! А теперь! Не то, что профессора, актера не найдешь изъ знаменитыхъ, чтобы выпилъ. Не пьетъ, хоть и актеръ!

Петръ Титычъ вздохнулъ съ сокрушеніемъ.

— Не съ кѣмъ въ Москвѣ выпить! Вотъ какъ маменька, Богъ дастъ, помрутъ первымъ долгомъ за границу поѣду.

— Знаменитостей искать, съ кѣмъ чокнуться?

— Въ Англіи, говорятъ, всѣ пьяницы. Туда и махну!

— Ну, а теперь-то маменька вѣдь кажется, слава Богу, еще живетъ?

— Живетъ какъ предразсудокъ!

— Пока-то ты чѣмъ же занятъ?

— По ученымъ обществамъ больше. Въ десяти ученыхъ обществахъ состою. Все ищу!

— Съ кѣмъ бы выпить?

— Оно самое! Кончится это засѣданіе, — подойдешь бочкомъ къ кому-нибудь изъ ученыхъ: «меня, молъ, въ вашемъ докладѣ вотъ эта мысль объ эволюціи нѣсколько поразила. Не проѣдемся ли къ «Яру», на вольномъ воздухѣ объ эволюціи поговорить?»

— Ну, и что же!

— Поѣхалъ, — держи карманъ шире! Посмотритъ дико, да и все. Одному, вишь, ученое сочиненіе писать надо, другой завтра къ лекціи готовится. Скучный ученый народъ пошелъ. Скучное время приспѣло. Образованіе мнѣ дадено, стряпчій и понамаръ меня ужъ не удовлетворяютъ какъ собесѣдники, а профессора, чтобъ выпить, нѣтъ! Пить, конечно, пью, но только безъ удовольствія!

Мы помолчали.

— Ну, а жена какъ?

— Жена въ «Стрѣльну» поѣхала.

— Неужели взаправду урокъ братъ?

— И это Акулька, подлая, выболтала! Ну, подожди, языкатый чортъ, познакомится она у меня съ энциклопедіей!.. Чего жъ ты удивляешься? Ну, урокъ братъ! У кого жъ и урокъ братъ пляски по-цыгански, какъ не у цыганъ? Кажется, логично?! И ежели бъ ты видѣлъ, какъ жена пляшетъ! Отдай все, да мало! Кажись, не будъ она мнѣ жена, цѣлые бы дни сидѣлъ и смотрѣлъ! Прямо — не жена, а Пашка Оглашенная! Плечами какъ дрыгаетъ! Страстъ.

— Да для чего же это, собственно?

— Для бала. Теперь это въ большой модѣ. Балъ, а молодые купцы и купчихи цыганъ изображаютъ. Потому настоящіе-то цыгане надоѣли. Что это?! Такъ! Природа! А ежели первой гильдіи купчиха подъ цыганку работаетъ, это— ужъ искусство! Да ты не улыбайся! Не кто-нибудь это выдумалъ! Такія, братъ, фирмы пляшутъ, ой-ой-ой...

— Да зачѣмъ это?

— Для искусства. Ну, опять же послѣдовательностъ этого требуетъ.

— Что?

— Послѣдовательность. Во всемъ должна быть послѣдовательность. Столько лѣтъ купцы на цыганъ смотрѣли. Что изъ этого, спрашивается, вышло? А вотъ наше, молъ, смотрите,—что! Купцы великолѣпно переняли, какъ цыгане пляшутъ, и теперь сами своими силами безъ цыганъ обойтись могутъ! Прежде говорили: «купецъ безъ цыганъ не мыслимъ!» А теперь на-тко, выкуси! Сами почище цыганъ пляшемъ! Ну, и цыганамъ острастка,—видятъ, что и купчихи не хуже ихъ поютъ и пляшутъ,—конкуренція! Меньше за пѣніе драть будутъ. И коммерческій расчетъ тутъ есть. А главное—самолюбіе. Честь сословія!

— Ну, честь сословія-то при чемъ же?

— А какъ же?! Вотъ, молъ, какъ мы! Что за способности въ насъ таятся. Что хочешь,—сейчасъ превзойдемъ! Хоть по-цыгански плясать На что всѣ говорятъ: «ужъ такъ, какъ цыгане, никому не сплясать!» Анъ нѣтъ! Захочетъ купецъ,—лучше спляшетъ. Ко всему способности! А это важно!

— Отлично! Ну, а ты самъ не того... не пляшешь?..

— Я-то! Нѣтъ! Такъ, въ домахъ, у знакомыхъ, пляшу, а чтобъ публично на балахъ,—мнѣ

нельзя: я членъ десяти ученыхъ обществъ! Женѣ, конечно, не препятствую: эмансипація.

— А маменька какъ на всю эту эмансипацію смотритъ?

— Маменька — что! Маменька плюются. Сидятъ у себя въ антресоляхъ и плюются. Старыхъ понятій человѣкъ! Въ прошломъ мясоѣдѣ въ газетѣ прочла, какъ мою жену за цыганскую пляску разбирали во всѣхъ подробностяхъ,— сложеніе и какъ плечами дрыгаетъ, такъ съ ней чутъ ударъ не сдѣлался. А мы этой газетой пуще, чѣмъ аттестатомъ гордимся, потому въ ней мою жену весьма похвалили: и за сложенье и за то, какъ плечами дрыгаетъ. «Настоящая, молъ, цыганка». Это-то маменьку пуще всего въ изступленіе и привело. «Какъ они смѣютъ,—кричитъ,— первую гильдію въ газетахъ трогать? Пустъ бы вторую цыганили!» Потому маменька дуры-съ!

— А ну, а какъ эта «маменька — дуры-съ» возьметъ да тебя за всѣ эти «художества» наслѣдства и лишитъ?

Петръ Титычъ усмѣхнулся.

— Никакъ этого не можетъ быть! Завѣщанье вотъ оно, въ несгораемомъ шкапу. Все мнѣ!

— А другое составитъ?

— Невозможно. Я маменьку въ попеченьи держу. Разъ навсегда приживалкамъ наказано

безъ моего вѣдома ни къ маменькѣ никого ни маменькѣ никуда. А то у меня — расправа короткая: словаремъ Ларусса по башкѣ! И кончено. Меня изъ-за моей библіотеки всѣ въ домѣ страхъ какъ боятся!

III.

Просвѣтители.

Ѳедула Прохоровича Пахомова я засталъ за дѣлами.

Онъ бесѣдовалъ съ управляющимъ, однако, когда ему доложили, прителъ немедленно.

— Милости прошу къ нашему шалашу! Пожалте! Сигарочку не прикажете ли?

— Да я не помѣшалъ вамъ?

— Помилуйте, какая помѣха! Тамъ управляющій съ фабрики пріѣхалъ. Отчетъ сдаетъ. Дѣло не секретное! Намъ чего хорониться: на всю Русь дѣло дѣлаемъ! Ежели дозволите, я при васъ его и допрошу, чтобъ малаго-то не томить!

— Пожалуйста, не стѣсняйтесь.

— Живо покончимъ! Ну, Панкратъ Даниловъ, докладывай, какъ дѣла!

Панкратъ Даниловъ, степенный, но, видимо, «себѣ на умѣ» мужикъ, изъ ярославцевъ, по обы-

чаю всѣхъ управляющихъ, въ такихъ случаяхъ, переступилъ съ ноги на ногу, кашлянулъ и отвѣтилъ не безъ мрачности:

— Дѣла что! Ничего дѣла! Дѣла—слава Богу!

— Фабрики что?

— Фабрики ничего: и ткацкая и бумагопрядильная. Все обстоитъ какъ слѣдуетъ. Рабочіе вотъ...

Ѳедулъ прохоровичъ безпокойно заерзалъ на стулѣ.

— Что рабочіе?

— На господина Шекспира обижаются.

— Что жъ имъ «господинъ» Шекспиръ сдѣлалъ?

— Да Шекспиръ-то ничего, онъ, можетъ, былъ господинъ даже хорошій... Только вотъ сочиненія его... непереносимо-съ!

— То-есть, какъ же это «непереносимо»? Какъ «непереносимо»?

— Да вы, Ѳедулъ Прохорычъ, не извольте гнѣваться. А только это правду надо сказать, что сочиненіями Шекспира весьма рабочіе обижены! Помилте, рабочій человѣкъ, онъ устанетъ, сами изволите знать—работа у насъ на фабрикѣ почитай что каторжная!

— Но... но!.. Ужъ и каторжная!

— Такъ точно-съ, Ѳедулъ Прохорычъ! Человѣкъ рабочій намается, ему бы только до печи

добраться, а его вдругъ господина Шекспира сочиненія смотрѣть гонятъ. Очень господиномъ Шекспиромъ рабочіе обижены! Спать не даетъ!

— «Спать»! — передразнилъ Ѳедулъ Прохорычъ.—«Спать»! Вѣками дрыхнете, черти! Вамъ бы все спать, а о просвѣщеніи не подумаете. Много онъ умнаго во снѣ увидитъ, рабочій-то твой! А тутъ все-таки Шекспиръ, самъ Шекспиръ!!!

— Такъ точно-съ. Но только два ткацкихъ мастера, хорошихъ мастера, черезъ эстаго самаго Шекспира на Алтынникову фабрику ушли. «Потому, — говорятъ, — тамъ никакого Шекспира нѣтъ, и народъ имъ не неволятъ: смѣнился, и спи сколько влѣзетъ».

Ѳедулъ Прохоровичъ даже плюнулъ отъ негодованія.

— Да вѣдь Алтынниковъ-то твой дрянь, мракобѣсъ, представитель темнаго царства,—типъ, вымершій типъ!

— Зачѣмъ же?! Они и теперь живутъ!

— «Живутъ»! Безъ тебя знаю, что «живутъ». Но какъ типъ, они вымерли! Э, да что мнѣ съ тобой о литературныхъ дѣлахъ разговаривать, ежели ты Алтынниковымъ восхищаешься?! Политературному если тебя назвать, такъ ты

ретоградъ. А не по-литературному ежели, такъ просто дуракъ!

— Какъ хотите ругайтесь, Ѳедулъ Прохорычъ. Вамъ виднѣе! Дѣло хозяйское!

— Алтынниковъ твой только о пользѣ думаетъ, а я какъ себя понимаю? Какъ на себя смотрю? Ввѣрено мнѣ четыре тысячи фабричныхъ, и долженъ я объ ихъ просвѣщеніи заботиться! Ты бы это рабочимъ объяснилъ!

— Объяснялъ я.

— Ну, и что жъ?

— Да они согласны. И на Шекспира согласны. «Только пущай, — говорятъ, — намъ Шекспира этого самаго въ рабочіе часы засчитываютъ, хотъ за половинную плату».

— Ишь ты!

— Или пустъ хотъ часикъ работъ сбавятъ, «тогда мы,—говорятъ,—завсегда Шекспира смотрѣтъ согласны!»

— Вотъ это вздоръ! Этого нельзя!—сухо перебилъ Ѳедулъ Прохоровичъ.—Это ужъ значитъ до капитала добираться. А я этого, знаешь, не люблю. Шекспиръ—Шекспиромъ, а капитальное дѣло само по себѣ. Да ты,— Ѳедулъ Прохоровичъ подозрительно посмотрѣлъ на управляющаго, — да ты самъ, я вижу, рабочихъ сторону держишь? Ихъ линію гнешь? Смотри ты у меня!

Управляющій даже головой покачалъ.

— Помилте, Ѳедулъ Прохорычъ! Напрасно обиждатъ изволите. Развѣ я когда рабочихъ сторону держалъ? Завсегда, кажется... Оштрафовать когда,—завсегда оштрафую: интересъ хозяйскій. Но штрафъ штрафомъ, а Шекспиромъ-то обижать зачѣмъ же!

— «Обижать!» А ты на Савастѣевской-то фабрикѣ слыхалъ что дѣлается?

— Слухи ходятъ!

— Мольера для рабочихъ ставятъ. Что же, по-твоему, твой хозяинъ долженъ хуже Савастѣевыхъ быть? А? У нихъ Мольеръ, а у меня Шекспиръ. Нако-ся, выкуси! Ужъ если пошло среди гг. фабрикантовъ такое теченіе, чтобъ о просвѣщеніи рабочихъ заботиться, то долженъ я въ этомъ теченіи первымъ быть. Вотъ пріѣдетъ къ святкамъ Боборыкинъ, Петръ Дмитріевичъ, мы ему и покажемъ. У Савастѣевыхъ Мольеръ, а у насъ рабочіе всего Шекспира наскрозь пересмотрѣли! Посмотримъ, кого онъ въ романѣ опишетъ!

— Развѣ собирается Петръ Дмитріевичъ къ святкамъ? — полюбопытствовалъ я.

— Онъ завсегда объ эту пору для наблюденій пріѣзжаетъ. Матеріалъ собираетъ и новѣйшія теченія жизни улавливаетъ. Онъ теперича но-

вѣйшее купечество живописуетъ. Вотъ мы ему и покажемъ: какіе мы есть просвѣтители. Ты народу прямо скажи: кто согласенъ Шекспира смотрѣть, пусть живетъ. А не согласенъ, пусть убирается къ чорту. Намъ невѣжественныхъ элементовъ не нужно.

— Слушаю-съ.

— Построилъ я имъ театръ!—пояснилъ мнѣ Ѳедулъ Прохорычъ.— Актеры изъ Москвы, которые безъ мѣстъ, играть ѣздятъ. Шекспиръ идетъ. И вотъ, видите, съ какими затрудненіями приходится просвѣтительное дѣло дѣлать. Дубьемъ ихъ въ театръ надо гнать!

— Народъ усталый,— вставилъ опять управляющій.

— Ну, ты молчи, потворщикъ! «Усталый!» Такъ Шекспиръ-то для чего дается? Для отдыха! Умственный отдыхъ это!

— Оно, конечно, который человѣкъ образованный, онъ и на Шекспирѣ, можетъ, отдохнетъ. А который необразованный, ему бъ на печи сподручнѣе.

— Ладно!.. Прохоровъ пьетъ?

— Такъ точно-съ. Пьетъ. Я вамъ вотъ, Ѳедулъ Прохорычъ, про него объяснить хотѣлъ. Никакого сладу съ нимъ нѣтъ. Пьянъ съ утра до ночи, съ работы уходитъ, всей фабрикѣ со-

блазъ. А станешъ говоритъ, — фертомъ этакъ подопрется, «я, — гытъ, — гамлетъ дамскій!»

— Не дамскій, а датскій! Сколько разъ я тебѣ говорилъ?

— Виноватъ-съ. Не нарочно! Перепуталъ!

— Прохоровъ,— пояснилъ мнѣ Ѳедулъ Прохорычъ,—это у меня мастеръ-ткачъ. То-естъ, онъ не столько ткачъ, сколько шекспировѣдъ. Первый шекспировѣдъ по всему ткацкому корпусу. Личность феноменальная. Память прямо дьявольская! Страницами наизустъ катаетъ. Пьяница горычайшій. Изъ-за Шекспира только и держу. Для славы! Онъ теперь что учитъ?

— Ателу, мавру дикую. Ужасти, какъ страшно кричитъ!

— «Ателу»!— передразнилъ, по своему обыкновенію, Ѳедулъ Прохорычъ. — Еще управляющій, а «Ателу», да еще «мавру» говоришъ. Ты, Панкратъ Даниловъ, когда Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ фабрику обходитъ будетъ, помалкивай! Стыдобушка съ тобой!

— Мнѣ что жъ! Мнѣ съ ними говоритъ не о чемъ!

— А зато Прохоровымъ мы господину романисту носъ утремъ! Нда-съ! Пойдетъ ему изъ Шекспира ткачъ монологи катать, — я думаю, г. Боборыкинъ объ немъ, не утерпятъ, романъ

напишутъ. Самородокъ. Только, я такъ думаю, сопьется этотъ самородокъ и въ актеры пойдетъ!

— Куды жъ ему больше! — подтвердилъ и управляющій.—Будетъ по балаганамъ ломаться!

— Ну, и чортъ съ нимъ! Въ холодную его, чтобъ Шекспира училъ, запираешь?

— Запираемъ. Нешто онъ безъ этого можетъ?

— То-то. Я даже такъ думаю для эффекта пустить, чтобы когда Петръ Дмитріевичъ Боборыкинъ пріѣдетъ,—Прохорова не мастеромъ, а простымъ ткачомъ пустить. Эффекту больше. Вотъ, молъ, до какихъ нѣдръ на моей фабрикѣ просвѣщенность дошла. Простые ткачи Шекспира наизустъ знаютъ! Штука!

— Ну, а на бумаго-прядильной кто у насъ на Шекспирѣ стоитъ?

— Тамъ Малоѣшка Ефимъ, тоже мастеръ. Жалится очень. Времени, — говоритъ, — много уходитъ.

— Ништо! Скажи этому самому Малоѣшкѣ: не будетъ Шекспира учить, — изъ мастеровъ разжалую. Какъ же это возможно! Въ ткацкомъ корпусѣ есть шекспировѣдъ, а въ бумаго-прядильномъ вдругъ нѣтъ! Безобразіе! А здорово вѣдь это выйдетъ?! — весь сіяя, обратился ко мнѣ Ѳедулъ Прохорычъ.— Бумаго-прядильщикъ,

Малоѣшка,—вѣдь и прозвище же!—и вдругъ монологъ «Короля Лира» махнетъ! Я думаю, ротъ Петръ Дмитрїевичъ разинетъ! Слава Тебѣ, Господи, въ этомъ году начистоту дѣло поведемъ. На совѣстъ торговать будемъ. Дѣйствительно, своихъ рабочихъ шекспировѣдовъ выставимъ!

— А развѣ въ прошломъ...—удивился я.

Ѳедулъ Прохорычъ только усмѣхнулся. Усмѣхнулся и Панкратъ Данилычъ.

Оба посмотрѣли другъ на друга:

— «Сорвалось, молъ, слово-то!»

— Ну, да ужъ что!—махнулъ рукой Ѳедулъ Прохорычъ.—Одно слово вылетѣло,—надоть все договаривать! Вамъ-то ужъ признаюсь. Не безъ грѣха въ прошломъ году было. А? Панкратъ Данилычъ? Говоритъ?

Управляющій только усмѣхнулся:

— Говорите, молъ! Ужъ начали!

— Мы съ Панкратомъ Петра Дмитрїевича обошли маленько. Взамѣсто рабочаго-то приватъ-доцента ему всучили!

Я даже на мѣстѣ подпрыгнулъ.

— Какъ приватъ-доцента?!

— Такъ, неважный приватъ-доцентишка. Онъ даже и не приватъ-доцентъ, а хотѣлъ только приватъ-доцентомъ быть. Шлющій. Безъ дѣла путался. Изъ себя такой невзрачненькій, боро-

денка мочалкой, — одно слово, огрызокъ! Подрядилъ я его за полтораста цѣлковыхъ. Панкратъ его фабричнымъ одѣлъ, словамъ кой-какимъ фабричнымъ, терминамъ, обучилъ. Умываться не давали двѣ недѣли. Совсѣмъ вышелъ фабричный. И фабричный-то изъ паршивенькихъ.

— Ну? Ну?

— Ну, приходитъ Петръ Дмитрїевичъ за «матерїалами» для романа на фабрику. Онъ, какъ Эмиль Золя, когда романы пишетъ, во все вникать любитъ. Я ему и говорю: «а вотъ, Петръ Дмитрїевичъ, не угодно ли съ типикомъ интереснымъ познакомиться? Можетъ, и пригодится. Первый нашей фабричной библїотеки читатель!» — «Пфа! — говоритъ. — Интересно!» И пошелъ промежду нихъ разговоръ. Приватъ-доцентишка-то ему такъ и чешетъ, такъ и чешетъ. Петръ Дмитрїевичъ даже глазки открыли...

— Вытаращили глазки, это точно-съ! — подтвердилъ съ улыбкой и управляющій.

— И ничего не говорятъ. Только слушаютъ. А приватъ-доцентишка чешетъ, а онъ-то чешетъ! Я сзади Петра Дмитрїевича ни живъ ни мертвъ стою. «Ну, какъ,—думаю,—догадается?!» А самъ-то ему, приватъ-доцентишкѣ, на носъ все указываю, на носъ!

— Это зачѣмъ же?

— А чтобъ носъ рукавомъ вытиралъ, — фабричнаго больше похоже! Разошелся мой приватъ-доцентишка, носъ себѣ рукавомъ утираетъ, а самъ-то Петру Дмитрїевичу и о томъ и объ этомъ. Петра Дмитрїевича даже сомнѣнїе взяло: «Не ожидалъ, — говоритъ, — не ожидалъ, чтобъ за то время, пока я по Италїямъ ѣзжу, русскїй народъ до того развился и такїе фрукты даритъ могъ! Вижу, — говоритъ, — что читали вы много, и свѣдѣнїй нахватали тьму. Ну, а позвольте васъ спросить: это у васъ что?» И на станокъ ткацкїй указываетъ. «Станокъ!» — приватъ-доцентишка говоритъ. «А это?» — «А это челнокъ прозывается!» Панкратъ Даниловъ, какъ я вамъ докладывалъ, его всей этой премудрости обучилъ. «А это что будетъ?» — «Основа!» Тутъ Петръ Дмитрїевичъ диву дался, слова эти на манжетѣ записалъ: «для романа, — говоритъ, — годится!» Оборачивается ко мнѣ и говоритъ: «мастеръ, должно-быть, хорошїй?» Ну, а я-то радъ, что не открылся. «Первѣющїй, — говорю, — мастеръ!» Обнялъ его тутъ Петръ Дмитрїевичъ, поцѣловалъ, собственный портретъ съ надписью и полное собранїе сочиненїй подарилъ. Потомъ еле на двухъ подводахъ привезли! Гололедица была, Петра Дмитрїевича сочиненїя лошадямъ везти и невмоготу.

— Ну, и что жъ изъ этого вышло?

— Что вышло? Сталъ Петръ Дмитрïевичъ послѣ этого случая задумываться. Три дня мы тутъ жили, — онъ фабричное дѣло во всей досконалъности изучитъ хотѣлъ! Ходитъ онъ и задумывается. Я ужъ испугался даже,— думаю: «не случилось бы чего съ человѣкомъ?» Не радъ, что и затѣялъ. Сами понимаете, человѣкъ нервный, и вдругъ ему ткачъ про Дарвина! Долго ли тутъ! Сталъ ужъ тутъ я его разговаривать: «Охота, молъ, вамъ, Петръ Дмитрïевичъ, объ этакихъ пустякахъ думать? Между фабричными это заурядъ! Всѣ они Дарвина читали! Объ этомъ даже и думать не стоитъ!» Не зналъ, прямо, что дѣлать. Хотѣлъ было даже во всемъ чистосердечно признаться,—потому, вижу, дѣло плохо: человѣкъ ошеломленъ и отъ изумленïя съ нимъ неладное творится! Да, спасибо, Петръ Дмитрïевичъ самъ уста разверзъ. «О чемъ,—говорю, — вы все, Петръ Дмитрïевичъ?» — «А о томъ, — говоритъ вдругъ, — что прогрессъ каковъ?! Давно ли я свою «Московскую легенду» писалъ, про то, какъ три купца ученую свинью слопали, — и вдругъ теперь что вы надѣлали? Рабочïе у васъ Дарвина читаютъ! А? Куда вы Россïю двинули!» Да и ну меня цѣловать! Романъ потомъ написалъ «Тягу», — и моего при-

ватъ-доцентишку такъ въ видѣ фабричнаго и выставилъ. А мнѣ слава! Пошелъ по Москвѣ трезвонъ! «Вонъ, какой у Пахомова рабочій выискался,—Оборыкинъ съ него романъ пишетъ!» Мнѣ и лестно. И все бы хорошо, да приватъ-доцентишка замучилъ!

— Этотъ что?

— Получилъ свои полтораста по уговору, а пятьдесятъ еще выклянчилъ. Портретъ Петра Дмитріевича съ собственноручною надписью на стѣнку повѣсилъ,—кажется, еще что-то лестное для себя вписалъ. Книги, полное собраніе сочиненій, букинистамъ продалъ. А потомъ, что ни мѣсяцъ, то пошелъ письма писать: «пришлите, дескать, сто рублей заимообразно, а то въ газетахъ опроверженіе напечатаю, что былъ я, приватъ-доцентишка, фабричнымъ загримированъ, и вмѣстѣ Петра Дмитріевича въ обманъ вводилъ». Платилъ!

— И много?

— Съ тысячу переплатилъ. Ну, а теперь этого не будетъ! Теперича мы для Петра Дмитріевича своихъ собственныхъ шекспировъдовъ приготовимъ. Что еще есть новаго на фабрикѣ, Панкратъ Даниловичъ?

— Да больше ничего-съ, Ѳедулъ Прохорычъ, окромя того, что многіе, по положенію, впередъ

просятъ, къ праздникамъ въ деревню имъ высылать надотъ! Это и при тятенькѣ вашемъ такъ водилось.

— Скажите имъ, чтобы Шекспира наизустъ учили. Кто хотъ одинъ монологъ выучитъ,— пустъ получаетъ. Не выучитъ, — не прогнѣвайся.

— Ѳедулъ Прохорычъ, обидно!

— Ничего не обидно! Просвѣщенье нужно насаждать! Хочетъ денегъ впередъ,—просвѣщайся. Да бабамъ и дѣвкамъ сказать, чтобъ хотъ по небольшому, по одному сонету выучили. А то, сказать,—качели сломаю, и горы разметать велю. Такъ и объявить: кто стихи знаетъ, пускай съ горъ катается. А нѣтъ,— въ шею! Больше ничего... Скажи еще, что на той недѣлѣ я самъ на фабрику буду, — и по книжкѣ спрашивать стану, кто что изъ Шекспира знаетъ. Рады фабричные моему пріѣзду?

— Извѣстно, хозяинъ... Какъ не рады...

— Рады, я вижу, да не очень! Тятенькѣ покойному, царство ему небесное, больше радовались? Ты правду говори, Панкратъ Даниловичъ, правду!

Управляющій замялся.

— Да оно...

— Говори, говори, не бойся!

— Оно, ежели правду говоритъ,—такъ точно, что тятенькѣ вашему, дай Господъ царство небесное, мѣсто покойное, радовались поболъше. Потому, сами изволите знать, у кого на англичанъ, главныхъ мастеровъ, жалоба, у кого въ деньгахъ недохватка,—всѣ къ вашему тятенькѣ, когда они на фабрикѣ бывали, шли. И всѣхъ ихъ тятенька вашъ выслушивали. А къ вамъ,— вашей милости извѣстно,—иначе какъ съ Шекспиромъ не подходи.

Ѳедулъ Прохоровичъ даже плюнулъ.

— Вѣдь вотъ! Все о жратвѣ да о штрафахъ, да о недостаткахъ! А нѣтъ, чтобъ о возвышенномъ, о просвѣщенiи позаботиться! Тфу!

— Народъ малодушный!— какъ бы извиняясь, сказалъ управляющiй.

— Самъ ты «малодушный»! Ступай! Да съ Шекспиромъ-то поприжми ихъ! Штрафуй, въ случаѣ чего,—но чтобъ Шекспира къ святкамъ знали!

— Слушаю-съ!— унылo сказалъ управляющiй, поклонился и вышелъ.

— Вотъ какiя дѣла-съ! — помолчавъ, вымолвилъ Ѳедулъ Прохорычъ. — Вотъ какими энергичными мѣрами приходится ввѣренный намъ народъ просвѣщать.

— Диву даюсь я, — не могъ я удержаться,— что это за всеобщая литературная повинность такая!

— Не возможно-съ иначе,—отвѣтилъ со вздохомъ Ѳедулъ Прохоровичъ,— такая у гг. фабрикантовъ линія пошла, чтобы свой фабричный народъ просвѣщать. Одинъ свою фабрику просвѣщаетъ, а другой еще пуще. Другой пуще, — а третій еще пуще. Сосѣдъ Мольера загибаетъ, а я—Шекспира.

— Спортъ какой-то!

Ѳедулъ Прохорычъ «воззрился».

— А хоть бы и спортъ-съ? Благородный спортъ-съ! Тутъ не лошади, а Шекспиръ! Радоваться нужно, что среди полированнаго купечества новѣйшей формаціи такой спортъ завелся!

— Оно, конечно... Только мѣры-то больно крутыя.

— Иначе и невозможно. А Петръ Великій какими мѣрами просвѣщенье вводилъ? Не крутыми?

— Ну, не всѣмъ же, Ѳедулъ Прохорычъ, Петрами Великими быть!

— А почему бы и нѣтъ-съ? Примѣръ съ великихъ людей всегда братъ слѣдуетъ!

— Оно, конечно... Только ужъ очень оно...

— Вѣрьте мнѣ, сударь! Тятенька-покойникъ были изъ народа, и я народъ знаю. Народъ лодырь, но народъ къ просвѣщенью способенъ. Оштрафуй его, бестію, какъ слѣдуетъ,—онъ и просвѣтится. А мнѣ съ моей фабрикой отъ другихъ отставать не приходится. Тѣ заботятся,—и я забочусь! Да вотъ, не угодно ли-съ, мы на фабрику проѣдемъ! Я вамъ такихъ шекспировѣдовъ покажу...

— Нѣтъ ужъ, зачѣмъ же!

Я взялся за шапку.

— Право бы, проѣхали! Я вотъ еще Гервинуса думаю на ткацкой фабрикѣ ввести. Пусть читаютъ! Не будешь читать—штрафъ. Оно штрафами можно съ Русью все сдѣлать! Оштрафовать хорошенько,—и Гервинуса будутъ знать!

Я откланялся.

IV.

„Лордъ“ Салазкинъ и „мистеръ“ Курицынъ.

Къ Силѣ Силычу Салазкину я заѣхалъ въ воскресенье.

Меня встрѣтилъ чисто-начисто выбритый лакей.

— Вамъ къ кому собственно? Ежели къ леди, то онѣ не принимаютъ-съ, заняты: аглицкую Библїю читаютъ. А ежели къ лорду, то можно: они зѣваютъ.

— Къ какому лорду?

Чисто-начисто выбритый лакей осклабился.

— Это мы Силу Силыча такъ зовемъ!

— Такъ какой же Сила Силычъ лордъ?

— Это ужъ намъ неизвѣстно-съ, лордъ Сила Силычъ, или не лордъ. А только мы ихъ лордомъ зовемъ,— потому за это жалованье получаемъ. Который человѣкъ безошибочно Силу Силыча завсегда лордомъ называетъ,—тому даже ежемѣсячное награжденіе бываетъ. А вонъ Трифонъ буфетчикъ онамедни напимшись Силу Силыча изъ озорства купцомъ назвалъ,—такъ его въ три шеи со двора долой. Шибко Сила Силычъ этого не любятъ!

— Ну, ладно, пойди, доложи обо мнѣ лорду.

— Думаю, что примутъ-съ. Хоша теперь и воскресный день. Они по воскресеньямъ никого не принимаютъ,—но теперича, я думаю, исключеніе составятъ. Потому никакъ три часа передъ каминомъ, на рѣшетку положимши ноги, сидятъ. Я думаю, что имъ невтерпежъ. Этакъ и изжариться недолго.

— Зачѣмъ же онъ по три часа передъ каминомъ сидитъ?

— Аглицкое-съ обыкновенїе!

Чисто-начисто выбритый лакей не ошибся. Сила Силычъ принялъ меня немедленно и, видимо, съ удовольствїемъ покинулъ свою «аглицкую» позу предъ каминомъ.

— А! Слухомъ слыхать! Видомъ видать! Сколько лѣтъ, сколько зимъ! Оно хотъ въ Англїи и не принято по воскресеньямъ въ гости ходить, но старому пріятелю радъ!

— Да вѣдь мы съ вами, Сила Силычъ, не въ Англїи.

— Ничего не значитъ, у меня домъ на самую настоящую англїйскую ноту поставленъ. Вотъ, напримѣръ, воскресенье. У насъ по-московски принято,—что либо самъ въ гости, либо къ тебѣ гости. А я дома сижу,—самъ ни къ кому, къ себѣ никого. Потому въ Англїи этого ужасъ какъ избѣгаютъ. Даже читать ничего не читаю, — потому у англичанъ и это не принято. Зѣваю, зѣваю,—скулу своротилъ зѣвавши, — но отъ англїйскаго режима ни на шагъ. Спасибо, вы зашли. А то ужъ прямо не зналъ, доживу я до обѣда или нѣтъ! Тяжело быть англичаниномъ! Присядемте! Можетъ, не угодно ли, по-англїйски, къ каминчику?

— Нѣтъ, зачѣмъ же! Я и здѣсь посижу. Да и вы, кажется, Сила Силычъ...

Сила Силычъ немножко покраснѣлъ.

— Знаете, другому бы, конечно, не сказалъ. Но вамъ, какъ старому пріятелю, откроюсь: невтерпежъ! Сидишь это предъ каминомъ въ англійской позѣ, — ноги на рѣшетку, — небо съ овчинку кажется! Печетъ, чортъ его возьми, моченьки нѣтъ. Прямо, чувствуешь, что волдыри вскакиваютъ! А сидишь!

— Да вы бы встали.

— Нельзя: англичанинъ! Диву я этимъ англичанамъ даюсь, — ну, чего это они вздумали, задравши ноги, передъ каминомъ сидѣть? Какая пріятность? Точно на горячіе уголья тебя посадили. Или вотъ ростбифъ еще,—каторжная, между нами говоря, ѣда!

— Почему же? Иногда...

- Хорошо, какъ иногда. А ежели каждый день.

— Да зачѣмъ же, Сила Силычъ, вамъ каждый день ростбифъ кушать?

— Нельзя: англійское блюдо. Ужъ разъ ты англичанинъ, — англичаниномъ и будь. Терпи, а отъ англійскихъ обычаевъ не отставай. Я на этотъ счетъ держу ухо востро. Меня,—я такъ думаю,--если лорду Салисбюри показать, такъ и тотъ за чистокровнаго англичанина приметъ.

Жена, напримѣръ! Другой разъ и хотѣлось бы женѣ «ты» сказать: голубка, молъ, ты моя сизокрылая. А воздерживаюсь. «Вы» говорю.

— Почему же?

— А потому въ англійскомъ языкѣ «ты» слова нѣту. Тамъ отецъ сыну, коропузу этакому, двухъ годовъ отъ роду,—и то «вы» говоритъ. Просвѣщенная нація! Я намедни племянника далъ. Деру, а самъ ему «вы» говорю. Потому нѣтъ въ англійскомъ языкѣ слова «ты»,—да и шабашъ!

— Да вѣдь вы съ женой-то, я думаю, не по-англійски, а по-русски разговариваете?

— Ничего не значитъ! На англійскій образецъ. Не говорятъ англичане «ты»,—ну, стало-быть, и я не долженъ.

— Новенькаго у васъ, Сила Силычъ, что?

— Да что новенькаго! Вся надежда теперь у насъ на лорда Чемберлена, потому,—сами вы знаете,—маркизъ Салисбюри,—куда онъ годится?!

— Да я не про то! Ну ее, Англію! Оставимъ ее въ покоѣ! У васъ, у васъ, Сила Силычъ, что новенькаго? Въ Москвѣ, вообще?

— Да мнѣ-то почему жъ знать! Я, признаться, рѣдко въ Москвѣ зимой бываю. Вы и теперь-то меня такъ случайно здѣсь застали. Я зимою на дачѣ.

— Въ декабрѣ?

— Всю зиму! Да что вы на меня такъ уставились?! Всѣ англійскіе лорды такъ дѣлаютъ,— и никто имъ не удивляется! Всѣ англійскіе лорды, сколько есть, цѣлую зиму на дачахъ, т.-е. въ загородныхъ коттеджахъ, проживаютъ, а на лѣто въ Лондонъ пріѣзжаютъ.

— Такъ вѣдь то, Сила Силычъ, объясняется условіями климата. Въ Лондонѣ зимой жить невозможно: туманъ цѣлыми недѣлями не проходитъ. Потому лорды и въ городѣ не живутъ. У нихъ и сезонъ-то бываетъ лѣтомъ, всѣ балы, театры...

— Ну, ужъ, это, чѣмъ тамъ объясняется, намъ разбирать не приходится. А только ежели англичане такъ дѣлаютъ, такъ и долженъ я имъ подражать. Такъ-то! Оно иной разъ, правда, зимой-то на дачѣ «и кюхельбекерно и тошно» дѣлается. Сидишь это передъ каминомъ, печешься. А за окномъ-то вьюга злится, стонетъ, плачетъ, въ трубѣ словно воетъ кто-то, да такъ пронзительно, да такъ жалобно, — сердце сжимается. Даже оторопь беретъ! Ну, а вспомнишь, что ты англичанинъ, — и ничего, успокоишься. Ежели ты лордъ, — такъ и слушай, какъ въ трубѣ вѣтеръ воетъ! А только, дѣйствительно, цѣлую зиму этакъ выдержать

трудновато! Костюмы вотъ меня еще допекаютъ!

— Какіе же въ деревнѣ костюмы?

— Какъ какіе? По англійскому обычаю, три раза въ день переодѣваюсь. Утромъ пиджакъ, въ двѣнадцать часовъ рединготъ длиннополый,—я ихъ себѣ отъ Пуля, изъ Лондона, выписываю,—чисто юбка! Ну, курить захочется, — особь статья: тутъ я смокингъ кургузый одѣваю для этого случая. А къ обѣду фракъ.

— Гости, что ли, бываютъ?

— Какіе тамъ гости! Вдвоемъ съ женой!

— Такъ на что же фракъ?

— Нельзя! По-англійски-съ! А во фракѣ, и даже въ перчаткахъ,—ѣстъ неудобно, а нечего дѣлать, стараюсь, ѣмъ! А жена въ платьѣ декольте и во всѣхъ своихъ брильянтахъ. Какъ англійская леди. Мы за день-то только за обѣдомъ и сходимся. Я ей поклонъ: «миледи»! А она мнѣ книксенъ: «милордъ». И руки другъ другу не подаемъ. Такъ въ молчаніи ростбифъ и кушаемъ!

— Ну, а жена какъ насчетъ всего этого «англійскаго дачнаго режима»?

— Что жена! Плачетъ, а покоряется. Пошла замужъ за англичанина,—должна и она англичанкой быть! Мы хоть и англичане, а это правило

«жена да боится»—весьма помнимъ! Потому оно намъ сподручно. Женѣ-то надо правду сказать,—еще пуще моего приходится. Леди,—потому ее и страхъ беретъ. Ужъ ежели у лорда отъ этого трубнаго воя сердце щемитъ,—леди-то и подавно. Все это ей представляется, что по ночамъ въ окна разбойники лѣзутъ. На дачѣ-то зимой жимши,—какъ не представится! Ночей не спитъ. Выйдетъ къ обѣду худая и блѣдная, лицо какъ изъ воска,—сердце радуется: настоящая англичанка!

Тутъ ужъ я не вытерпѣлъ.

— Скажите, Сила Силычъ, какая же такая крайность заставляетъ васъ всѣмъ этимъ «аглицкимъ звѣрствамъ» себя подвергать: зимой на дачѣ жить, у камина себя поджаривать и ростбифомъ каждый день питаться?

Сила Силычъ подумалъ, побарабанилъ пальцами по столу, вздохнулъ и сказалъ:

— Стремленіе къ просвѣщенности!

— Да въ чемъ же тутъ просвѣщенность? Ростбифъ, когда онъ въ горло не лѣзетъ, ѣсть.

— Не въ ростбифѣ сила, а въ томъ, чтобъ англичаниномъ быть! Вотъ въ чемъ вся штука!

— Да для чего же, непремѣнно, московскому первой гильдіи купцу,—да вдругъ въ англичане?

— Для чего?! А вотъ видите ли, сударь мой! Тятеньки-то наши, царство имъ всѣмъ небесное, когда капиталы наживали, въ сѣрости жили. Имъ объ этой самой просвѣщенности, дѣйствительно, думать было некогда. Потому, они капиталомъ были заняты,—какъ бы прирастить, то-есть. Ну, а мы, теперь, какъ состоимъ при готовыхъ уже капиталахъ, то должны и о просвѣщенности подумать! Вотъ и сталъ я насчетъ просвѣщенности думать: какъ бы мнѣ жить просвѣщеннѣе? Да и рѣшилъ: «а не пойти ли мнѣ въ англичане?» Англичане, — самая что ни на есть просвѣщенная нація. Подражай, да и кончено! Я въ эту точку и устремился. Оно что говорить, трудно. Возьмемъ хоть слабость человѣческую — ѣду. Она у всякаго человѣка имѣется, а у купца московскаго — охъ, какъ сильна! Духомъ-то я совсѣмъ англичанинъ, а желудокъ у меня московскій. Мнѣ изъ-за этого сколько искушеній переживать приходится. Другой разъ, какъ русскіе люди говорятъ, «сосетъ подъ ложечкой», желудокъ себѣ севрюжинки проситъ, потому онъ на ней съ малолѣтства воспитанъ,—а я ему, какъ англичанину подобаетъ, ростбифу, да съ кровью! Или вотъ, скажемъ: англійская утренняя ѣда: по-ихнему «брекфестъ». Не могу, ни свѣтъ ни заря, спозаранку, чуть

глаза продравши, бифштексъ лопатъ. А ѣмъ. Тошнитъ меня,—а ѣмъ. Потому захотѣлъ быть англичаниномъ,—будь имъ во всѣхъ смыслахъ! Я, можетъ, черезъ это желудкомъ-то какъ маюсь,—ни одинъ агличанинъ такъ не мается! А терплю, дохожу, стараюсь. Потому долженъ я самымъ что ни на есть просвѣщеннымъ человѣкомъ, англичаниномъ сдѣлаться! И другихъ кругомъ себя англичанами дѣлаю. Упираются они, не хотятъ, а я на своемъ ставлю: я, братъ, хоть и англичанинъ, а изъ московскихъ купцовъ. Меня, на чемъ я уперся,—съ того не сопрешь. Шутишь! Всѣхъ кругомъ себя англичанами дѣлаю. Оно, глядишь, и образуется вокругъ меня кругъ самыхъ что ни на есть просвѣщенныхъ людей—англичанъ. Жена у меня англичанкой стала; человѣкъ, котораго вы видѣли, англичанинъ; кучеръ Терентій—англичанинъ, даже бороду ему сбрилъ и бачки отпустить приказалъ; лошади англизированы...

Въ эту минуту вошелъ чисто-начисто выбритый лакей и громкимъ голосомъ провозгласилъ:

— Эсквайеръ пришелъ!

— Это еще кто?—не удержался я отъ изумленнаго восклицанія.

— Это такъ,—небрежно замѣтилъ Сила Силычъ,—родственникъ одинъ, торговецъ бѣдный,

ну, а все-таки у него, кромѣ торговлишки, дѣлишки еще есть,—такъ я его приказалъ «эсквайеромъ» звать. Ходитъ онъ тутъ ко мнѣ, на бѣдность проситъ. Ко мнѣ, признаться, мало кто жалуетъ. Изъ-за англійскаго моего режима. Не выносятъ еще передовой просвѣщенности! Сѣрости еще много. Ходили было изъ родственниковъ кое-кто, да какъ я ихъ обязалъ, чтобъ къ обѣду во фракахъ всѣмъ быть, а женщины чтобъ декольте, — они и плюнули. Такъ-таки, прямо, и плюнули. На порогъ плюнули и ушли: «Тфу, — говорятъ, — опосля этого!» Довольно не по-англійски! Одинъ только, почитай, эсквайеръ Курицынъ и жалуетъ еще! Да и того недостатки ко мнѣ гонятъ. На бѣдность канючитъ! Гдѣ эсквайеръ?

— Въ передней дожидаются, лордъ! – безъ запинки отвѣчалъ чисто-начисто выбритый лакей.

— Ну, зовите эсквайера сюда!

Сила Силычъ пересѣлъ къ камину и ноги положилъ на рѣшетку:

— Надо эсквайеру англійскую позу показать!

Вошелъ невзрачный, пожилой человѣчишка. Вошелъ робко, остановился на порогѣ, посмотрѣлъ по стѣнамъ, пошарилъ глазами, истово перекрестился нѣсколько разъ въ передній уголъ, низко поклонился сперва Силѣ Силычу, потомъ

мнѣ, потомъ опять Силѣ Силычу, сдѣлалъ шага два, снова поклонился и сказалъ:

— Вашему степенству! Все ли въ добромъ благополучіи?

— «Вашему степенству!»—передразнилъ Сила Силычъ.—Сколько разъ я тебѣ... Сколько разъ я вамъ говорилъ... Тфу! Съ вами и самъ изъ англичанъ выйдешь! Сколько разъ я вамъ говорилъ, какъ меня звать слѣдуетъ?

Курицынъ конфузливо улыбнулся:

— Запамятовалъ, ваше степ... то-бишь, мистеръ Сила Силычъ. Въ головѣ не то, мистеръ Сила Силычъ!

— А что же у васъ въ головѣ, мистеръ Курицынъ?

— Насчетъ векселечка я, мистеръ Сила Силычъ,—въ триста рублей векселечка... Онамедни, мистеръ Сила Силычъ, благодѣтель, изволили посулить, что триста рублей заимообразно по родственному, дадите векселечекъ заплатить. Завтра срокъ.

— Такъ-съ...

Сила Силычъ побарабанилъ пальцами по ручкѣ кресла.

— Такъ-съ! А въ какомъ же это вы, мистеръ Курицынъ, англійскомъ домѣ видѣли, чтобъ англичане по воскресеньямъ дѣлами занимались?!

А?! Развѣ вамъ, мистеръ Курицынъ, неизвѣстно, что англичане по воскреснымъ днямъ рѣшительно всякую дѣятельность прекращаютъ, и что на то у англичанъ есть будни? Неизвѣстно это вамъ, мистеръ Курицынъ?

«Мистеръ Курицынъ» метнулся, какъ человѣкъ, которому на шею забрасываютъ петлю.

— Ваше степ... Мистеръ Сила Силычъ, милостивецъ! Какіе же будни?! Былъ я у васъ вчера и третьяго дня,—съ утра до поздняго вечера толкался, видѣть вашей милости не могъ. Утромъ вы биштекъ кушаете, потомъ васъ тошнитъ...

— Ну, это вы, мистеръ Курицынъ, можете и въ сторону!

— Виноватъ-съ, мистеръ Сила Силычъ! Потомъ вы изволите въ манежъ верхомъ забавляться. Потомъ съ гирями упражненіе имѣете. Потомъ завтракаете. Потомъ съ лакеемъ на кулачкахъ деретесь...

— Не на кулачкахъ, а боксомъ!.. Это я ежедневно съ человѣкомъ боксирую. Англійскій спортъ!—пояснилъ Сила Силычъ въ мою сторону.

— Точно такъ-съ, боксомъ! Потомъ вы обѣдаете и ростбифъ кушаете. А тамъ,—говорятъ,—вы сморкингъ надѣли...

— Смокингъ, мистеръ Курицынъ, а не «сморкингъ»! Когда вы будете у меня англичаниномъ?!

— Точно такъ-съ, сморкингъ. Говорятъ: васъ видѣть нельзя, вы курите! Батюшка, мистеръ Сила Силычъ, когда же мнѣ отлучаться? У меня, сами изволите знать,—торговлишка: воробей клюнетъ, и нѣтъ ея. Отъ торговлишки отлучаться,—послѣднее, что есть, растащатъ. Безъ хозяйскаго глаза нешто возможно! Какой я ни есть, а все-таки хозяинъ!

— Эсквайеръ, это вѣрно!

— Какой ужъ тамъ «исквайръ»!—безнадежно махнулъ рукой «мистеръ Курицынъ». — Прямо надо сказать, голытьба! А все же я человѣкъ. Пить и ѣсть и мнѣ, худородному, надо! Жена! дѣти, — всѣхъ накормить, обо всѣхъ подумать надоть...

Вѣки «мистера Курицына» часто-часто замигали. По морщинистымъ щекамъ потекли мелкія-мелкія слезы.

— Мистеръ Курицынъ, соблюдайте свое человѣческое достоинство! Мистеръ Курицынъ, не унижайтесь!

— Какое жъ униженье? Не передъ чужимъ унижаюсь,—передъ своимъ, передъ сродственникомъ! Какое униженіе? У меня честь есть: мнѣ

тоже стыда и срама не хочется, — какъ завтра векселъ-то протестуютъ, послѣдняго кредита лишишься! Былъ хоть горе-купецъ, а все-таки купецъ, и мнѣ вѣрили. А тутъ на старости лѣтъ гроша тебѣ никто не дастъ, по мiру пойдешь... Не горько?

Сила Силычъ продолжалъ барабанить по ручкѣ кресла.

Курицынъ робко, но наступалъ:

— Не горько?

— Это вы, мистеръ Курицынъ, правильно! И съ англiйской точки зрѣнiя, совершенно такъ! Вѣрность слову для всякаго англичанина прежде всего. Подписали векселъ на извѣстное число,— и платите. Это по-англiйски! Но только и я, мистеръ Курицынъ, для васъ своего англiйскаго порядка мѣнять не стану и изъ англичанъ не выйду. Въ воскресенье дѣлами заниматься не стану! Пожалуйте завтра!

— Да вѣдь завтра опять я васъ не застану. Опять вы бифштексъ ѣсть будете, потомъ васъ тошнитъ...

— Мистеръ Курицынъ!

— Виноватъ-съ! Опять на лошадкѣ ѣздить будете. А времени нѣтъ срока. Векселекъ протестуютъ, и пойду я нищъ, нагъ и голъ, какъ соколъ...

— Чрезвычайно непріятно, будучи англичаниномъ, имѣть русскихъ родственниковъ! — обратился ко мнѣ Сила Силычъ. —Никакого уваженія къ собственной личности!

— Не все ли вамъ равно!.. Явите божескую милость! Отпустите мою душу на покаяніе!.. Прикажите сейчасъ мнѣ получить! Не я плачу, бѣда моя плачетъ!

Курицынъ опустился на колѣни.

— Мистеръ Курицынъ, намъ не о чемъ больше говорить!

— Ваше благоутробіе!.. Мистеръ Сила Силычъ!.. Да не будьте вы англичаниномъ! Будьте человѣкомъ! — возопилъ Курицынъ.

— Мистеръ Курицынъ, не возвышайте голоса! Не входите въ изступленіе! Уважающій себя англичанинъ не долженъ никогда терять свойственнаго ему спокойствія!

Но «мистеръ Курицынъ», что называется, «закусилъ удила».

— А ну тебя съ твоими англичанами! Шутовъ ты изъ насъ корчишь! Шутовъ!.. — завопилъ онъ.

— Вонъ!—крикнулъ Сила Силычъ.

— Издѣваться надъ бѣднымъ родственникомъ? Измываться?.. Такъ я же...

Но въ эту минуту, Богъ его знаетъ какъ, появившійся чисто-начисто выбритый лакей, схватилъ сзади тщедушнаго «эсквайера» и моментально съ нимъ исчезъ. Мы услыхали только истерическій крикъ изъ дальней комнаты, и затѣмъ все стихло.

Сила Силычъ былъ взбѣшенъ. Его «энглизированное» лицо покрылось красными пятнами, хотя, какъ англичанину подобаетъ, онъ и старался сдерживаться.

— Вотъ-съ! Вотъ-съ! — скрѣй яростно прошипѣлъ, чѣмъ проговорилъ онъ.— Вотъ и имѣй дѣло съ некультурными туземцами! О, какъ я понимаю англичанъ, что они не могутъ видѣть людей въ какихъ-нибудь индусахъ! Да, помилуйте, развѣ хватитъ у просвѣщеннаго англичанина терпѣнья?! Англичанинъ — вѣнецъ творенья, можно сказать, и этакій туземецъ!..

Я взялся за шляпу.

— Куда же вы? Нѣтъ! нѣтъ! Такъ у англичанъ не дѣлается! Такъ не отпущу. Чайку непремѣнно! У насъ теперь какъ разъ англійскій чай!

Въ эту минуту на дворѣ забилъ набатный колоколъ.

Я даже испугался.

— Что случилось?

— Ничего. «Файфъ-о-клокъ». Пять часовъ. Чай съ сандвичами и съ печеньемъ. Такъ вотъ колоколъ и сзываетъ.

— Да кого жъ сзывать-то?

— А меня съ женой! Въ англійскихъ замкахъ это вездѣ принято. Прошу, сэръ! Вы увидите, какой у меня въ домѣ англійскій строй!

Сила Силычъ, видимо, хотѣлъ загладить дурное впечатлѣніе сцены съ бѣднымъ «эсквайеромъ».

Въ рѣзной дубовой столовой насъ встрѣтила дама въ богатомъ, англійскаго покроя, визитномъ туалетѣ, въ длинныхъ перчаткахъ,—блѣдная, дѣйствительно, какъ англичанка, съ опухшими красными глазами.

Она церемонно отвѣтила сначала на мой поклонъ, потомъ на поклонъ мужа, не подавая руки, и мы усѣлись за столъ, на которомъ красовались три крошечныхъ чашечки чая.

— Вы опять, кажется, спали, миледи?! — подозрительно спросилъ Сила Силычъ.

«Миледи», видимо, смѣшалась и робко отвѣтила:

— Н-нѣтъ, я читала англійскую Библію, милордъ!

— То-то! Что же вы тамъ читали, позвольте спросить, миледи?

— Исторію Эсѳири, милордъ!

— Гмъ!..—еще подозрительнѣе гмыкнулъ Сила Силычъ.—Что-то вы впередъ не подвигаетесь, миледи! Кажется, вы ужъ читали эту исторію, миледи?

«Миледи» смѣшалась еще больше.

— Хорошая исторія, милордъ!

«Настоящій англичанинъ», чисто-начисто выбритый лакей появился съ подносомъ съ печеньемъ.

Лицо у Силы Силыча вдругъ все покраснѣло. Кровь бросилась ему въ голову. Глаза приняли прямо звѣрское какое-то выраженіе. Сила Силычъ изо всей силы «двинулъ» кулакомъ по столу.

— Вотъ, они нарочно сговорились, чтобъ меня сегодня изо всякаго англійскаго терпѣнья вывести. Гдѣ у тебя перчатки, дьяволъ?—гаркнулъ онъ на чисто-начисто выбритаго лакея.—Сколько разъ я тебѣ, скотинѣ, говорилъ, что англійскіе слуги безъ перчатокъ не служатъ. Скотъ ты, мерзавецъ ты этакій!..

— Сила... Милордъ!—испуганно воскликнула «миледи».—Да развѣ англійскіе лорды за столомъ такія слова говорятъ?!

— Ахъ, матушка! Тутъ даже про то, что ты англичанинъ, забудешь! Битъ ихъ, мерзав-

цевъ, надо, чтобъ англичанами сдѣлать! Битъ! «Англичане»! Да англичанину «дурака» сказать, онъ и то понимаетъ! А съ этимъ народомъ что?! Ихъ возвысить хочешь, англичанъ изъ нихъ сдѣлать, а они тебѣ всяческія пакости! Самъ изъ англичанъ изъ-за нихъ выходишь! Тфу!

Онъ энергично плюнулъ на паркетный полъ.

— Прошу меня извинить, миледи! Оно, дѣйствительно, не по-англійски вышло! — улыбнулся онъ и мнѣ. — Прошу извиненія. Но нѣтъ никакой возможности! Съ этими людьми самъ хамомъ дѣлаешься! Помилуйте! Возьмите вы англійскій языкъ, — въ немъ вѣдь ни одного ругательства. А съ этими... съ этимъ народомъ цѣлаго нашего ругательнаго лексикона нехватаетъ!

Я поспѣшилъ проглотить чашку чая, откланяться и уйти.

— Милости прошу къ намъ обѣдать. Мы на дачу переѣзжаемъ къ Рождеству. Обѣдъ у насъ въ половинѣ девятаго, во фракахъ!—кричалъ мнѣ съ верхней площадки лѣстницы Сила Силычъ.

— Ладно, ладно!—отвѣчалъ я, стараясь спуститься какъ можно скорѣе.

V.

Купецъ Ермошкинъ, герцогъ мейнингенскій.

До моего стараго товарища купца Ермошкина я добрался съ большимъ трудомъ.

На дверяхъ его квартиры красовалась довольно-таки странная дощечка:

«Московскій 1-й гильдіи купецъ Варсонофій Никитичъ Ермошкинъ, по сценѣ актеръ Несчастливцевъ, герцогъ мейнингенскій».

Мнѣ отворилъ дверь внушительнаго вида бритый господинъ, — не то актеръ на роли благородныхъ отцовъ, не то мажордомъ.

— Варсонофій Никитичъ дома?

— Ихъ свѣтлость изволятъ быть въ канцеляріи!

Я совсѣмъ былъ сбитъ съ панталыка.

— Въ какой канцеляріи? Какая свѣтлость?

— Въ канцеляріи драматическихъ дѣлъ. Они теперь въ трагическомъ департаментѣ прошеніе Уріеля Акосты разсматриваютъ. А свѣтлость они потому, что они герцогъ мейнингенскій.

Мнѣ казалось, что я начинаю сходить съ ума.

— Чортъ знаетъ, что вы, почтеннѣйшій, болтаете! Какой герцогъ? Гдѣ, кто слыхалъ про герцоговъ Ермошкиныхъ?

— Не могимъ знать. А только вотъ!

Величественный мажордомъ столь же величественно ввелъ меня въ пріемную и указалъ:

— Вотъ ихній гербъ.

На стѣнѣ, дѣйствительно, красовался въ вѣнкѣ изъ дубовыхъ листьевъ огромный щитъ, на которомъ было нарисовано что-то въ высшей степени странное.

Для меня—увы!—не оставалось сомнѣнія, что мой бѣдный Ермошкинъ, что называется, спятилъ!.. На гербѣ былъ нарисованъ... старый турнюръ, палка,—и внизу написаны какіе-то стихи.

— Что это за турнюръ?— съ изумленіемъ спросилъ я.

— Не турнюръ-съ,—величественно отвѣтилъ мажордомъ, — не турнюръ, а суфлерская будка.

— А палка при чемъ же?

— Палка — знакъ режиссерскаго достоинства.

— Да тутъ и стихи внизу есть?

— Такъ точно-съ.

«Тѣнь Кронека меня усыновила
«И герцогомъ изъ гроба нарекла»...

— А вотъ и портретъ этого самаго г. Кронека, извольте полюбопытствовать. Собствен-

норучно ихъ свѣтлости Варсонофью Никитичу посланный. Большая рѣдкость, потому что посмертный!—пояснилъ мажордомъ.

На стѣнѣ, рядомъ съ гербомъ, висѣла фотографія, изображающая покойнаго знаменитаго режиссера мейнингенской труппы въ гробу. На фотографіи была надпись:

«Моему дорогому послѣдователю и преемнику московскому 1-й гильдіи купцу Ермошкину въ знакъ благодарности за оригинальную постановку «Отелло» съ армянскимъ акцентомъ, отъ любящаго его Кронека».

— Собственноручная надпись-съ! Одинъ нѣмецъ ихъ свѣтлости изъ-за границы привезли, большія деньги въ награду получили! — продолжалъ пояснять мажордомъ.

Для меня начало кой-что выясняться.

— Постой! Постой! Да ужъ не держитъ ли твой баринъ, «ихъ свѣтлость», театра?

— Такъ точно-съ,— осклабился мажордомъ,— держатъ-съ! Ихъ оченно успѣхъ г. Станиславскаго,—изволили слышать?—тоже мейнингенецъ изъ 1-й гильдіи,— соблазнилъ. Такъ они теперь тоже театръ открыли. «Перемейнингеню»! — говорятъ.

— Ага! Вотъ оно откуда все это «герцогство!» Бутафорское!

— Не могимъ знать. Пожалуйте въ канцелярію,—тамъ вамъ лучше разскажутъ.

Онъ ввелъ меня въ канцелярію, гдѣ насъ встрѣтилъ какой-то солидный господинъ, съ вида, впрочемъ, очень похожій на Ивана Антоновича Расплюева.

— Чиновникъ особыхъ порученій по комической части! — отрекомендовался солидный господинъ, похожій на Расплюева.—Впрочемъ, могу васъ принять по какому угодно дѣлу. Я сегодня дежурный по всѣмъ отраслямъ искусства.

— Я бы хотѣлъ видѣть Варсонофія Никитича...

— Ихъ свѣтлость герцога мейнингенскаго?

— Вотъ, вотъ! «Ихъ свѣтлость»...

— Такъ это разница-съ! Не рекомендую вамъ Варсонофія Никитича иначе, какъ «свѣтлостью» величать! Очень ихъ свѣтлость не любятъ, ежели ихъ самымъ настоящимъ герцогомъ всѣхъ мейнингенцевъ не признаютъ! Вы по какому, собственно, дѣлу? Въ актеры наниматься, можетъ-быть?

— А если въ актеры?—улыбнулся я.

— Тогда вы должны прежде всего знать условіе первое нашего контракта. «Обязуюсь относиться къ Варсонофію Никитичу съ полнымъ уваженіемъ и любовью, относиться къ нему съ

почтенїемъ, во всемъ оказывать ему полное повиновенїе и ни въ чемъ не выходить изъ его воли».

— Да что меня усыновлять, что ли, вашъ бутафорскїй герцогъ собирается, что такїя требованїя?

— Не усыновлять, а такїя правила. Знаете, какъ Ахиллъ говоритъ въ «Прекрасной Еленѣ»: «глупое правило!» Но правило!

— Ну, а далѣе что же отъ актера для поступленїя требуется? Дебютъ, что ли?

— Никакихъ дебютовъ.

— Да откуда же вы талантъ мой будете знать?

— А намъ наплевать на талантъ!

— На талантъ?!

— У насъ актерамъ талантъ не полагается. Какъ Варсонофїй Никитичъ скажутъ, такъ и стойте. Какъ они укажутъ, такъ и ходите. Какъ прикажутъ, такъ и говорите! Свой талантъ актерамъ имѣть строго воспрещается. Такъ и въ контрактахъ сказано: «костюмы и талантъ отъ дирекцїи». А это, ежели всякїй со своимъ талантомъ играть начнетъ, — для чего же тогда Варсонофїй Никитичъ и театръ держатъ?

Какъ разъ въ эту минуту двери отворились, вошли два человѣка въ костюмахъ средне-вѣко-

выхъ аллебардщиковъ, стали у притолокъ, и въ дверяхъ появился самъ Варсонофій Никитичъ. Онъ былъ въ лавровомъ вѣнкѣ на головѣ.

Увидѣвъ меня, онъ трижды облобызался, послѣ чего шедшая за нимъ цѣлая стая людей отвѣсила мнѣ по поклону, настоящему поклону маркизовъ Людовика XIV.

— А? Слышалъ? Театръ держу? — спросилъ меня Варсонофій Никитичъ.

— Слушаю, слушаю, и диву даюсь!

— Станиславскій, братъ, смутилъ! «Чѣмъ,— думаю,— я хуже его. Тоже изъ купцовъ!» Ты у Станиславскаго-то въ театрѣ былъ?

— Былъ. Хорошо. Только актеры какъ-то на манекеновъ смахиваютъ. Словно не живые люди, а маріонетки по сценѣ ходятъ: куда ихъ дернутъ, туда онѣ и пойдутъ.

— Это что?! Ты у меня въ театрѣ посмотри! Вотъ это выучка! Нѣмецъ одинъ, докторъ, пріѣзжалъ, смотрѣлъ. Диву дался. «Что это,— говоритъ,—всѣ они, словно заведенныя машины, ходятъ и разговариваютъ? Загипнотизированы они, что ли?» Вотъ это выучка! Во всемъ режиссерская рука видна. Поднялъ человѣкъ руку,— сразу видно, что это онъ не самъ такъ руку поднялъ, а режиссеръ ему такъ приказалъ. Даже за кулисы, шельма, съ испугомъ смотритъ:

«такъ ли, молъ, я это продѣлалъ?» Да вотъ я бы тебѣ сейчасъ, пожалуй, ихъ спектаклъ показалъ...

— Какъ же такъ? Сразу людей, ни съ того ни съ сего, играть заставитъ?

— У меня это ничего не значитъ! До тонкости доведено. Ночью, случается, разбужу, прикажу тревогу ударить. «Играть, — скомандую,—«Потонувшій колоколъ!» И играютъ! Другой еще не проснулся, глазъ еще открыть не можетъ, а свою роль лопочетъ. Вотъ до чего срепетовка доведена. Такъ я бы сейчасъ все это показалъ. Да не знаю, какъ актеры... Г-нъ десятый помощникъ режиссера, гдѣ теперь актеры?

— Актеры на маршировкѣ, ваша свѣтлость.

— А актрисы?

— И актрисы вмѣстѣ маршируютъ.

Я только диву давался!

— Какъ на маршировкѣ?

— У меня, братъ, все на военную ногу!—похвасталъ Варсонофій Никитичъ. — Дисциплины больше! А на сценѣ дисциплина первое дѣло. Вотъ жаловались по всей Руси всѣ антрепренеры и всѣ дирекціи, что актеры—народъ не дисциплинированный. Какъ взяться—не знали! А пришелъ московской первой гильдіи купецъ Ермошкинъ, сдѣлался герцогомъ мейнингенскимъ и сразу

дисциплину ввелъ. Пущай въ газетахъ пишутъ, что отъ такой вымуштрованной игры не искусствомъ, а мертвечиной отдаетъ,—мнѣ плевать! У меня, братъ, для актеровъ казармы построены!

— Какъ казармы?

— Такъ и спятъ въ казармахъ. «Нанялся—продался». Это чтобъ индивидуальность изъ актеровъ вышибать! Шибко я этой индивидуальности не люблю!.. Встаютъ по барабану, ложатся по барабану, на репетицію—по барабану, играть—по барабану. Все—по барабану. И цѣлый день въ костюмахъ ходятъ историческихъ.

— Это зачѣмъ?

— Чтобъ въ костюмахъ держаться привыкали. Такъ между собой и разговаривать даже должны. Ежели человѣкъ играетъ боярина,—такъ къ нему всѣ и обращаются: «бояринъ». Чтобъ къ кличкѣ привыкъ, и когда его «бояриномъ» на сценѣ назовутъ,—глаза не таращилъ. Грима тоже смывать не смѣетъ. Въ гримѣ такъ и спятъ!

— Это зачѣмъ же?

— А чтобы который бритый, а на сценѣ съ бородой, чтобы онъ къ бородѣ привыкъ. У меня вонъ четвертый мѣсяцъ «Антигона» все откладывается. А актеры все такъ въ греческихъ костюмахъ и ходятъ. Разрѣшилъ я имъ какъ-то въ праздникъ въ гости сходить и сюр-

туки одѣтъ, — смотрѣтъ было смѣшно: полу сюртука,—и вдругъ на плечо запахиваютъ. Привыкли къ греческимъ костюмамъ. А одинъ такъ даже просился: «Позвольте мнѣ и въ гости въ греческомъ костюмѣ пойти, — отвыкъ я отъ сюртука-то. Странно какъ-то!» Позволилъ.

— Осмѣлюсь замѣтить, — робко вставилъ какой-то маленькій человѣчекъ,— вѣроятно, 20-й помощникъ режиссера, — Карасубазарскій очень проситъ, чтобъ разрѣшили ему гримъ самозванца стереть. Второй мѣсяцъ, какъ онъ загримированъ. Лицо,—говоритъ,—лупится.

— Вздоръ! — важно замѣтилъ Варсонофій Никитичъ. — Вымазать ему лицо глицериномъ, а сверху опять гримъ Гришки Отрепьева положить. Пусть такъ и ходитъ. Въ концѣ сезона у насъ эта пьеса идетъ,—пусть пріучается. А на лѣвой пяткѣ онъ себѣ бородавку сдѣлалъ?

— Такъ точно. Сдѣлалъ-съ.

— То-то!

— Да зачѣмъ же на пяткѣ бородавку дѣлать,—удивился было я,—вѣдь публика Гришкиной пятки не увидитъ?

— А какъ же? — изумился, въ свою очередь, Варсонофій Никитичъ.—Историческая деталь: у самозванца была на лѣвой ногѣ, на самой пяткѣ, бородавка. Мало ли что публика не увидитъ. А

историческая вѣрность все-таки соблюдена. Ужъ мейнингенитъ такъ мейнингенитъ! Валяй и бородавку!

— Ну, а какъ же съ режиссерствомъ у тебя? Неужели одинъ справляешься?—полюбопытствовалъ я.

— Зачѣмъ одинъ? У меня по режиссерской части цѣлая канцелярія.

— Ужели даже канцелярія?

— А что же? Почему же и искусству чрезъ канцелярію не дѣлаться? У насъ къ этому даже привыкли. Да вотъ я тебѣ всю эту механицію сейчасъ покажу. Къ докладу!

Дежурный «чиновникъ по комической части», съ виду похожій на Расплюева, всталъ и началъ докладывать бумаги.

— Входящая въ № 15,737. О самовольномъ переходѣ актера Гаррикова съ правой стороны сцены на лѣвую.

— Произведено слѣдствіе?—строго спросилъ Варсонофій Никитичъ.

— Такъ точно. Актеръ Гарриковъ показалъ, что сдѣлалъ это поневолѣ. Актриса Бернарова такъ встала, что ему поневолѣ, чтобъ ее поцѣловать, на лѣвую сторону перейти пришлось!

— Все одно! Я сказалъ, что долженъ на правой сторонѣ сцену вести,—и веди! Воздухъ цѣ-

луй, а моего распоряженія измѣнять не моги. Наказать актера Гаррикова и назначить его три раза не въ чередъ въ «Потонувшемъ колоколѣ» квакать.

— Есть!

— Шибко этого актеры не любятъ, — съ улыбкой пояснилъ мнѣ Варсонофій Никитичъ.— Дальше!

— Прошеніе за № 17,879 актера Кинова о разрѣшеніи ему въ трагедіи Толстого въ «сценѣ на Яузѣ» распоясаться. Подъ мышками, — говоритъ,—очень рѣжетъ.

— Ничего не значитъ!—Надо жертвовать для искусства. Я вонъ, первой гильдіи купецъ, и трудъ, и время, и капиталъ жертвую, — а они не могутъ? Исторической вѣрностью пренебрегать нельзя. Въ тѣ времена Русь ходила подпоясанная туго!

— Медицинское свидѣтельство онъ представилъ. Чирьякъ у него.

— Ладно. Пусть на два представленія распоясается. Такъ и быть. Но больше чтобъ этого не было. Штрафовать буду!

— Слушаю-съ!

— Ну, остальное мы послѣ разберемъ! Вотъ, братъ, у меня какъ все устроено. А?

— Образцово!

— Нигдѣ въ мірѣ, — во «Французской комедіи», — этого нѣтъ! На все бумага и все за номеромъ. Всѣ традиціи моего театра останутся въ папкахъ переплетенными! Захочетъ кто въ 22-мъ столѣтіи русскую и историческую трагедію ставить. «А какъ тогда Русь подпоясывалась»? Пожалте! Традиція за № 8725, въ синей папкѣ: вотъ какъ подпоясывались, туго и подъ мышками! И будетъ отнынѣ ходить актерскій міръ въ историческихъ трагедіяхъ подпоясаннымъ. Ловко устроено?

— Оно, конечно, устроено, именно, «ловко». Канцелярски-казарменный способъ насаждать искусство... Это ново и, разумѣется, только первой гильдіи мейнингенцу могло прійти въ голову!.. Но скажи на милость вотъ еще что... Тутъ я мелькомъ слышалъ, что ты прошеніемъ Уріэля Акосты занятъ. Объясни на милость: что за притча? Какъ это можетъ Уріэль Акоста московскому первой гильдіи купцу прошенія писать? И о чемъ?

У Варсонофія Никитича лицо сдѣлалось восторженнымъ:

— У-у! Это, братъ, штука! Такая штука, которая, можетъ, меня не только на всю Русь,— на весь міръ прославитъ! Переворотъ въ искусствѣ затѣваю. И совершу сей переворотъ не съ

кѣмъ инымъ, какъ съ выгнаннымъ кафе-шантаннымъ куплетистомъ и разсказчикомъ еврейскихъ сценъ Запивохинымъ! Этотъ Запивохинъ мнѣ и прошенïе писалъ. Хочешь у меня въ театрѣ «Урïэля Акосту» при полной мейнингенской обстановкѣ съ еврейскимъ акцентомъ играть! А? Каково?

— Варсонофïй Никитичъ!!!

— Чего «Варсонофïй Никитичъ»?! Вѣдь играютъ же «Отелло» съ армянскимъ акцентомъ!

— Гдѣ жъ это ты видалъ?

— А у меня въ театрѣ. Да почему бы и не играть? Реально, чортъ побери! Вѣдь «Отелло» былъ восточный человѣкъ,—ну, и сынъ его съ армянскимъ акцентомъ. А я, прямо тебѣ скажу, для реализма не только себя,—Шекспира не пожалѣю!

— Да ни у одного комментатора не найдешь!..

— А мнѣ что комментаторы за указъ? Я самъ себѣ комментаторъ! Это, братъ, устарѣло: «комментаторы». Кто ихъ комментаторами сдѣлалъ? Сами сдѣлались. Ну и я самъ комментаторомъ сдѣлался! Почему Гервинусъ можетъ быть комментаторомъ, а московскïй первой гильдïи купецъ Ермошкинъ — нѣтъ?

— Оно, конечно...

— То-то, «конечно»! Кто Уріэлъ Акоста былъ? Еврей? Ну, а еврей, такъ и говори съ еврейскимъ акцентомъ. Реализмъ прежде всего. Ты бы послушалъ, какъ это у него оригинально выходитъ: «сшпадайте грудьі камней отъ моей грудэ»! Я такъ думаю, что эта постановка большой переворотъ въ искусствѣ вызоветъ!

Въ эту минуту вбѣжалъ блѣдный какъ смертъ семнадцатый помощникъ режиссера:

— Варсонофій Никит... то, бишь, ваша свѣтлость, несчастье!

— Что еще тамъ?

— Лѣшій сбѣжалъ!

— Какъ лѣшій?!—не удержался я отъ восклицанія.

— Изъ Гауптмановской пьесьі лѣшій-съ. Сейчасъ артистьі маршировку кончили и на перекличку выстроились. Анъ лѣшаго-то и нѣтъ. Сбѣжалъ. Мнѣ бояре сказьівали, онъ давно ужъ собирался: «невмоготу, — говоритъ, — развѣ я затѣмъ на сцену пошелъ, чтобъ лѣшихъ изображать? Я мечталъ работать, создавать роли. А тутъ сиди съ утра до ночи лѣшимъ загримированньій, да по-лягушечьи квакай. Нестерпимо!»—говоритъ.

— «Роли создавать!» Экая отсталость. Его ли это дѣло, актерское ли: роли создавать. Это

режиссерское дѣло! Какъ первой гильдіи режиссеръ хочетъ! А его дѣло: жалованье получай да дѣлай, что прикажутъ. Велятъ по-лягушечьи квакать,—и квакай! Прикажутъ цѣлый актъ къ публикѣ спиной сидѣть,—и сиди! «Искусство». Всякій актеришка,—туда же объ «искусствѣ» помышляетъ! Тфу! Убѣжалъ,—такъ и ну его въ болото! Мы съ нашими деньгами лѣшихъ-то сколько угодно найдемъ!.. Въ сборѣ актеры?

— Такъ точно-съ!

— Ты ужъ меня извини,—обратился ко мнѣ Ермошкинъ,—но дисциплина въ художественной казармѣ, самъ понимаешь, прежде всего. Долженъ я пойти актерамъ смотръ сдѣлать?!

— Пожалуйста! Какъ я могу мѣшать искусство насаждать? Пожалуйста, не стѣсняйся.

Мы вышли вмѣстѣ.

На дворѣ построившись въ четыре шеренги, стояли бояре, водяные, витязи, лѣшіе, русалки, домовые.

Даже лошадь моего извозчика стояла, прижавъ уши, глядя испуганными глазами и переминаясь съ ноги на ногу.

— Здорово, артисты!—крикнулъ съ крыльца Варсонофій Никитичъ.

А гг. артисты стройно, хоромъ, въ одинъ голосъ отвѣтили ему по-лягушечьи:

– Ква!

— Баринъ! Ваше степенство!—взмолился мой извозчикъ.—Садитесь скорѣй! Лошадь молодая, къ московскимъ порядкамъ не привычная. Сейчасъ разнесетъ.

Я едва вскочилъ въ сани.

Лошадь «подхватила», шарахнулась отъ гг. артистовъ въ сторону, — и мы вылетѣли за ворота.

— Ква!—донеслось до насъ со двора.

Лошадь брыкнула задомъ и «понесла».

— Господи, помилуй насъ, грѣшныхъ! Экое наваждение!—бормоталъ бѣдняга извозчикъ.

Маленькіе люди. ✡ ✡

I.

Въ тупичкѣ *).

— ...Мно-о-огая лѣ-Ѣ-Ѣта-а-а-а!

Страшныя, невѣроятныя, дикія, какъ вопль, басовыя ноты несутся по тупичку. Отъ нихъ дребезжатъ стекла.

— Опять «Чудовской» началъ! — говорятъ жильцы.

Окна открываются.

— Перестанешь ты, орала?

— Замолчишь ли ты, подлецъ?

— Вотъ сейчасъ за полиціей пошлю, мерзавецъ Дождешься, орала чортовъ!—кричатъ изъ оконъ.

*) Тупикомъ,—или, нѣжнѣе, „тупичкомъ“,—въ Москвѣ называется глухой переулокъ, не имѣющій выхода на другую улицу. Такими „тупичками“ полна Москва. По улицѣ, словно рѣка, несется жизнь. Въ „тупичкѣ“ все тихо, спокойно, какъ въ маленькой бухточкѣ. Тупичокъ — это стоячее болотце, гдѣ отстаивается жизнь.

А «орала» хохочетъ, раскланивается и вопитъ тѣмъ, кто сильнѣе всѣхъ ругается:

— Многа-а-ая лѣта-а-а!

Окна захлопываются:

— Что съ чортомъ подѣлаешь?!

Если ужъ очень сильно ругаются, озорникъ разозлится и провозгласитъ ругателю:

— Вѣчна-а-а-я па-а-амя-я-ять.

Что непріятно.

Какъ зовутъ этого пьянаго, обрюзгшаго стараго человѣка съ огромными сѣдыми баками,— никто не знаетъ, хотя онъ и живетъ въ тупичкѣ лѣтъ пять.

Зовутъ его просто:

— «Чудовской».

Онъ былъ чудовскимъ пѣвчимъ, потрясалъ своей октавой, но за пьянство выгнанъ, спился окончательно и живетъ, какъ онъ выражается, «отъ купцовъ».

Нельзя сказать, чтобы онъ ничего не зналъ и ничего не умѣлъ.

Но всѣ знанія его и умѣнія самыя безполезныя.

Онъ умѣетъ, напримѣръ, сѣвши на мостовую, заложить обѣ ноги за голову и такъ просидѣть все время, пока играетъ зашедшая въ тупичокъ шарманка, — что онъ и дѣлаетъ

всегда, къ великой потѣхѣ всей дѣтворы и прислуги.

А шарманка въ тупичкѣ играетъ обыкновенно долго.

Шарманщика заставляютъ проиграть весь свой репертуаръ два-три раза, играть полчаса, — и только, когда онъ всѣмъ надоѣстъ, кто-нибудь даетъ ему двѣ копейки:

— Чтобъ только отвязался!

Затѣмъ, несмотря на свой возрастъ, «Чудовской» умѣетъ пройти на рукахъ, вверхъ ногами. Больше онъ ничего не умѣетъ.

Но это занятія постороннія. Это такъ, удовольствія. Онъ сидитъ на мостовой, заложивъ ноги за голову, или ходитъ на рукахъ передъ шарманкой, чтобъ доставить развлеченье ребятишкамъ.

Иногда только онъ дѣлаетъ это для взрослыхъ. Иногда, въ грязь, «господа купцы» начинаютъ приставать:

— Нѣтъ, ты пройди на рукахъ черезъ улицу!

Онъ жмется:

— Помилуйте, господа! Старику стыдно! Смотрѣть срамъ!

— Да вѣдь ходишь же!

— Такъ то для ребятишекъ, чтобы ребятишекъ потѣшить!

— Ну, и для насъ пройди!

Ему положительно не по себѣ:

— Господа!

— А не хочешь, — не надо! И водки не получишь!

— Затѣйники!

Онъ бормочетъ что-то еще себѣ подъ носъ, плюетъ на руки, становится вверхъ ногами и на рукахъ идетъ по грязи черезъ улицу.

Дорогой онъ поскользается, падаетъ, хочетъ стать на ноги, но «господа купцы» кричатъ:

— Нѣтъ! Ты на рукахъ! Ты на рукахъ!

Онъ снова становится на руки, снова летитъ въ грязь и, наконецъ, доходитъ до противоположнаго тротуара, весь въ грязи, «какъ чортъ».

— Ну, теперь назадъ! Теперь назадъ! — кричатъ увлеченные зрители.

— Назадъ уговора не было!

— Нѣтъ, назадъ! Нѣтъ, назадъ! А то водки не получишь!

Онъ нѣкоторое время торгуется, потомъ опять бормочетъ себѣ что-то подъ носъ, плюетъ на руки, становится на руки и съ посинѣвшимъ, отекшимъ лицомъ, почти касаясь губами грязи, тѣмъ же порядкомъ идетъ назадъ черезъ дорогу.

— Ишь, чортъ! Грязь нюхаетъ!—визжитъ отъ радости лавочный мальчишка въ то время, какъ «господа купцы» смѣются легкимъ баскомъ.

Главное занятіе «Чудовского»—«многолѣтіе».

Какъ Мазини, онъ живетъ своимъ голосомъ.

Иногда «Чудовской» исчезаетъ изъ тупичка, къ великой радости всѣхъ жильцовъ.

Это значитъ, что онъ пошелъ «по трактирамъ».

Онъ является въ трактиръ, ходитъ между столами, отгрызаясь отъ «половыхъ», наконецъ останавливается около какого-нибудь стола, гдѣ пьютъ водку, и, униженно кланяясь, предлагаетъ:

— Господа купцы, позвольте многолѣтіе возгласить!

Отъ одного стола его гонятъ, отъ другого гонятъ, наконецъ гдѣ-нибудь говорятъ:

— Валяй!

— Какъ титуловать прикажете?

— Валяй Петромъ!

«Чудовской» откашливается и «заводитъ» громоподобнымъ голосомъ:

— Купцу Петру мно-о-огая...

Стекла дрожатъ, посѣтители въ испугѣ вскакиваютъ:

— Что такое? Что случилось?

«Половые» подхватываютъ «Чудовского» подъ руки, — и «лѣ-ѣ-ѣта» онъ уже заканчиваетъ на ходу, когда его выводятъ.

Потомъ онъ долго Христомъ-Богомъ молитъ, чтобъ его пустили «только предусловленную рюмку водки выпить».

— Да пусти же! Да пусти же! — стонетъ онъ. — Вѣдь всю водку, анаѳемы, вылокаютъ! Пусти, говорятъ тебѣ!

Онъ кланяется, онъ божится:

— Вотъ тебѣ крестъ, оратъ больше не буду! Ну, избейте меня, если заору! Ну, избейте!

Наконецъ его пускаютъ. Онъ подходитъ къ столу, медленно, со смакомъ, выпиваетъ «предусловленную» рюмку водки, кланяется «купцу Петру» и уходитъ, на порогѣ рявкнувъ, для удовольствія публики, еще разъ: «Мно-о-огая!» — за что близъ стоящій половой подскакиваетъ и даетъ ему по уху или по шеѣ. Но иногда промахивается, потому что «Чудовской» удивительно наловчился увиливать отъ ударовъ.

Затѣмъ онъ идетъ въ другой трактиръ, въ третій, — и такъ цѣлый день. Иногда онъ кончаетъ тѣмъ, что гдѣ-нибудь его отправляютъ въ полицію. Иногда подвыпившіе посѣтители сами колотятъ его смертнымъ боемъ:

— Зачѣмъ безобразничаешь?

Тогда онъ «завязываетъ канителъ», самъ требуетъ полицію, реветъ:

— Протоколъ!

И требуетъ отступного «за безчестіе».

Но эти экскурсіи по трактирамъ, на горе жителей тупичка, онъ предпринимаетъ рѣдко. Вся дѣятельность «Чудовского» проходитъ, главнымъ образомъ, въ тупичкѣ. Главные его «давальцы» въ колоніальной лавочкѣ Панкратова.

Лавочникъ Панкратовъ, красивый, солидный мужчина, съ окладистой бородой, тайно торгуетъ водкой. Тайно! Нельзя торговать болѣе явно. Цѣлый день у него сидитъ въ лавочкѣ народъ и пьетъ водку изъ чайныхъ чашекъ.

Вся «тайна» и состоитъ въ томъ, что водку пьютъ изъ чашекъ.

Въ сосѣдней каморкѣ цѣлый день стоитъ самоваръ, — холодный, съ водкой. Въ чайникѣ налитъ рижскій бальзамъ,—будто бы чай.

Посѣтитель входитъ, крестится:

— Здорово, Панкратьичъ! Здравствуйте, господа!

— Чѣмъ могу служить? — солидно освѣдомляется солидный лавочникъ.

— Да выпить чайку, что-ли-ча! — вздыхаетъ посѣтитель и кидаетъ на прилавокъ деньги.

— Мальчонка, наплескай черепушечку,—такъ же солидно отдаетъ приказъ лавочникъ, убирая деньги.

— Вамъ покрѣпче или пожиже прикажете?—чрезвычайно весело спрашиваетъ шустрый, развязный лавочный мальчишка.

Ему необыкновенно нравится, что онъ такъ мошеннически торгуетъ водкой, и онъ мечтаетъ о томъ, какъ самъ будетъ хозяиномъ и самъ будетъ такъ же торговать изъ самовара водкой.

— А ужъ лей покрѣпче! Чего тамъ!

Мальчишка наливаетъ,—если говорятъ «покрѣпче»—побольше, если «пожиже»—поменьше,—рижскаго бальзама изъ чайника, доливаетъ водкой изъ самовара и на блюдечкѣ, словно чай, подаетъ посѣтителю:

— Кушайте на свое удовольствіе!

Въ лавочкѣ цѣлый день сидитъ и «точитъ лясы» съ покупателями красивая, румяная, сдобная лавочница, расфранченная, въ шерстяномъ платьѣ, съ «ковровымъ», цвѣтами и букетами, платкомъ на плечахъ, съ шелковымъ, цвѣтнымъ «полушалкомъ» на головѣ, въ золотыхъ сережкахъ и въ новыхъ полусапожкахъ «со скрипомъ», подбитыхъ мѣдными подковками. Это—Карменъ тупичка.

По вечерамъ, когда запрутся, лавочникъ обыкновенно бьетъ смертнымъ боемъ сдобную лавочницу:

— Какая ты есть мужняя жена, ежели ты съ чужими мужчинами цѣлый день лясы точишь?

Лавочница кричитъ не своимъ голосомъ «на весь проулокъ».

А наутро, разряженная, выходитъ въ лавку, садится и принимается цѣлый день «точить лясы съ чужими мужчинами».

Если она заспится или засидится долго за чаемъ, — мужъ отворяетъ дверь изъ лавки въ квартиру и кричитъ:

— Акулина! Иди, что-ли-ча! Посѣтители пришли!

Главный посѣтитель лавки, самый почетный,— извозчикъ Власовъ, лысый мужикъ, вида звѣроподобнаго, съ серебряной серьгой въ ухѣ.

Еще недавно онъ ѣздилъ съ работникомъ на двухъ лошадяхъ, потомъ быстро пошелъ въ гору, имѣетъ въ тупичкѣ огромный постоялый дворъ, держитъ восемьдесятъ биндюговъ, около ста лошадей и сорокъ работниковъ.

Жена его, худая, забитая, чахоточная женщина,—«кошка драная»,—цѣлый день молится Богу, по вечерамъ, когда мужъ приходитъ домой пьяный, прячется въ сарай, въ погребъ, на сѣно-

валъ, или въ конюшню и, дрожа, сидитъ тамъ, пока мужъ не заснетъ.

И Богу цѣлый день она молится со странниками и странницами только объ одномъ:

— Дай, Господи, чтобы мужъ меня совсѣмъ не придушилъ!

Извозчикъ Власовъ «безъ чувствъ» отъ рыхлой, сдобной лавочницы.

Дѣла его замѣтно, на глазахъ у всѣхъ, день ото дня шатаются все больше и больше и капиталъ таетъ, а онъ цѣлый день сидитъ въ лавкѣ и «пьетъ чай».

У него свое почетное мѣсто около прилавка, онъ «жретъ глазищами» лавочницу, постоянно ей «вретъ» что-то, на что она только краснѣетъ и вскрикиваетъ:

— Ужъ вы и скажете! Выдумщики извѣстные!

И такъ цѣлый день. И такъ изо дня въ день.

— Прилипъ человѣкъ! — какъ говорятъ про Власова съ сожалѣніемъ въ тупичкѣ.

Изъ-за Власова больше всего лавочницѣ и достается по вечерамъ:

— Извести меня собираешься, тварь, со своимъ Власовымъ!— кричитъ мужъ, колотя ее не на животъ, а на смертъ. — Въ гробъ уложитъ сговариваетесь?

А если Власовъ почему-либо не приходитъ,— лавочникъ косится на жену:

— Чего жъ Власычъ не идетъ? Спосылай за нимъ малъчонку! Ты!

«Чудовской» стоитъ обыкновенно у дверей. Въ лавку его не пускаютъ, «чтобъ посѣтители не обижались».

Одна половинка дверей всегда «для воздуха» открыта, въ нее заглядываетъ «Чудовской», низко кланяется и, стараясь изобразить на своемъ отекшемъ, избитомъ лицѣ умиленную улыбку, спрашиваетъ:

— Дозволите?

— Власова онъ, главнымъ образомъ, и зоветъ «благодѣтелемъ».

Власовъ, главнымъ образомъ, и распоряжается:

— Сынъ!

— Кому возглашать?—крякая и воскресая духомъ, спрашиваетъ «Чудовской».

— Катай рабѣ Аккелинѣ! Болярынѣ Аккелинѣ катай! Во какъ!

— Тоже придумаете! Хвантазія! — краснѣетъ и опускаетъ глаза польщенная лавочница.

— Пущай поораетъ! Ничего!

И «Чудовской» оретъ дикимъ, громоподобнымъ голосомъ на весь тупичокъ:

— Болярынѣ Аккелинѣ мно-о-огая лѣ-ѣ-ѣ-та-а-а!

Власовъ только глазами показываетъ лавочному мальчишкѣ. Тотъ подноситъ «оралѣ».

«Чудовскому» лавочный мальчишка наливаетъ «чайкю» всегда съ особеннымъ, презрительнымъ выраженїемъ лица, подноситъ, не торопясь, медленно, словно нехотя, всегда считаетъ своимъ долгомъ ругаться:

— Пей ужъ, чортъ, орала!

Всегда наливаетъ «пожиже» и не полную чашку, и когда «Чудовской» медленно выпьетъ чашечку, да еще подержитъ ее надъ ртомъ,— лавочный мальчишка непремѣнно заглянетъ потомъ въ чашку:

— Ишь вылокалъ! До капли!

И встряхнетъ чашку съ такой гадливостью, словно изъ нея пила собака.

Лавочному мальчишкѣ ужасно нравится все, что происходитъ въ лавкѣ. И какъ хозяинъ степенно загребаетъ выручку, и какъ онъ, степенно же, крестится, когда ударятъ къ вечернѣ, и какъ хозяйка «облапошиваетъ» Власова, и какъ Власовъ «липнетъ» и напивается. И лавочный мальчикъ облизывается и думаетъ:

«Вотъ бы и мнѣ, — когда вырасту, — то же!»

Изъ всѣхъ въ лавкѣ онъ больше другихъ презираетъ «Чудовского» и сильнѣе другихъ старается это выказать. Ни отъ кого столько не терпитъ «Чудовской», сколько отъ лавочнаго мальчишки.

Когда надо вышвырнуть что-нибудь изъ лавки, вылить остатки кипятку, или остатки копеечнаго кваса изъ ковша, или просто грязную воду,—лавочный мальчикъ всегда сдѣлаетъ это такъ, что попадетъ въ «Чудовского», да еще и выругаетъ:

— Всталъ, чортъ, на самой дорогѣ.

Это доставляетъ ему удовольствіе.

Но истинный праздникъ, истинная радость для лавочнаго мальчишки, когда надъ «Чудовскимъ» «шутку шутятъ». Тогда онъ ногъ подъ собой не слышитъ отъ восторга.

Шутку шутятъ надъ «Чудовскимъ» всегда одну и ту же.

Утро. Отпустивъ извозчиковъ на работу и ругательски изругавъ жену,—«когда сдохнешь, тварь чахлая!»—Власовъ выходитъ изъ дома, крестится на всѣ четыре стороны и идетъ въ лавку къ Панкратову.

А у дверей уже давно сидитъ и дожидается весь дрожащій «Чудовской». Весь съежился, сгорбился. Его бьетъ лихорадка, зубъ на зубъ у

него не попадаетъ. Кашель его мучитъ. Онъ бьется весь отъ затяжного кашля, давится.

Онъ кланяется и, чтобы обратить на себя вниманіе, кланяется въ ноги.

Но въ лавкѣ никто словно его и не замѣчаетъ.

Онъ дѣлаетъ знакъ лавочному мальчишкѣ:

— Подтолкни, молъ! Скажи хоть слово про меня! Иродъ! Обрати вниманіе.

Но лавочный мальчишка, однимъ глазомъ съ удовольствіемъ смотрящій «на всю эту комедію», дѣлаетъ такой видъ, будто ничего не замѣчаетъ. Нарочно подходитъ даже къ двери и смотритъ такъ, словно и на улицѣ никого нѣтъ. Даже не улыбнется, глядя, какъ мучается человѣкъ.

А «Чудовского» мутитъ все сильнѣе и сильнѣе.

— Ой, умру! Ой, умру! — стонетъ онъ, мучаясь отъ долгихъ припадковъ кашля.

Онъ не выдерживаетъ, доходитъ до такой дерзости, что лѣзетъ въ двери, кричитъ, прямо требуетъ, а не проситъ:

— Да закажите же! Закажите, говорю вамъ! Черти!

Но лавочный мальчикъ преграждаетъ дорогу, толкаетъ его кулакомъ въ животъ:

— Куда прешь, чо-ортъ?!

— Ой, Господи!—стонетъ «Чудовской» и кричитъ:—закажите же! Стекла битъ начну, если сейчасъ не закажете!

Наконецъ Власовъ, наговорившись съ лавочницей, замѣчаетъ «Чудовского».

— Валяй!

«Чудовской оживаетъ».

— На кого, на кого прикажете?

— Сынъ на меня!

— Купцу Анисиму мно-о-огая...

Голосъ у «Чудовского» утромъ хрипитъ, въ голосѣ «поютъ пѣтухи», голосъ дрожитъ, срывается.

— Лѣ-ѣ-ѣ-та-а-а!—едва-едва доводитъ онъ. Власовъ ужъ моргнулъ сдобной лавочницѣ и мальчишкѣ.

Тотъ знаетъ уже, въ чемъ дѣло.

Земля подъ нимъ ужъ горитъ, но онъ, какъ всегда, медленно, будто нехотя, заходитъ въ каморку, медленно, нехотя выноситъ и подаетъ «Чудовскому».

«Чудовской» дрожащими руками беретъ чашечку, медленно несетъ ее ко рту. Въ глазахъ его страхъ, ужасъ: какъ бы не расплескать?

Онъ медленно, сквозь зубы, пьетъ, запрокидывая голову все больше и больше, держитъ чашку надо ртомъ.

И на мгновеніе вдругъ застываетъ въ этой позѣ. Глаза выкатываются и дѣлаются огромными.

Лавочный мальчишка стремглавъ кидается въ лавку, захлопываетъ дверь. На дверномъ стеклѣ словно свиные пятачки, всѣ прижались носами, смотрятъ, что будетъ.

«Чудовскому» вмѣсто водки поднесли воды.

Съ минуту онъ стоитъ безъ движенія, со страшно вытаращенными глазами, словно не можетъ понять, въ чемъ дѣло, не въ состояніи притти въ себя.

И вдругъ это смѣняется страшнымъ кашлемъ. «Чудовского» тошнитъ, съ нимъ дѣлаются конвульсіи, онъ, какъ подкошенный, падаетъ на колѣни, вскакиваетъ, снова падаетъ. Какъ раненая птица, онъ крутится по землѣ. Онъ схватывается за голову, рветъ на себѣ сѣдые грязные волосы. То топочетъ ногами на одномъ мѣстѣ, то кидается изъ стороны въ сторону.

Онъ словно отравленъ. Лицо синѣетъ, глаза наливаются кровью, зрачки расширены.

Онъ страшенъ въ эту минуту. Онъ похожъ на безумнаго.

А въ лавочкѣ помираютъ — хохочутъ, глядя на эти «курбеты». И больше всѣхъ, сильнѣе всѣхъ—лавочный мальчишка. Онъ визжитъ отъ смѣха, онъ схватился за животъ.

«Чудовской», наконецъ, останавливается, видитъ за грязнымъ стекломъ смѣющіяся лица и съ бѣшенствомъ, какъ безумный, съ воплемъ, кидается на стеклянную дверь.

Но лавочный мальчишка успѣваетъ отворить дверь передъ самымъ его носомъ. «Чудовской» летитъ со всѣхъ ногъ, растягивается плашмя. Власовъ и лавочникъ схватываютъ его и вышвыриваютъ изъ лавки.

Отъ ихъ здоровыхъ кулаковъ онъ летитъ на середину мостовой, лежитъ неподвижный, за тѣмъ поднимается въ пыли или въ грязи, иногда въ крови,—злобно и тупо, словно ошеломленный быкъ, смотритъ на двери лавки, понемногу приходитъ въ себя, встаетъ, идетъ на противоположный тротуаръ и, стоя тамъ, закрывъ одно ухо отъ собственнаго невѣроятнаго крика, оретъ благимъ матомъ на весь тупичокъ:

— Извозчику Анисиму вѣчна-а-ая па-а-амя-я-ять! Вѣ-ѣ-вѣчная па-а-амя-ять!

И онъ оретъ дикимъ неистовымъ голосомъ «вѣ-ѣ-вѣчная па-а-мя-я-ять» до тѣхъ поръ, пока лавочный мальчишка не выходитъ съ новой чашечкой:

— На, что ли, чортъ! Заткни глотку!

«Чудовской» подходитъ медленно, недовѣрчиво.

— Да бери, бери, дьяволъ! Винище!

«Чудовской» беретъ, нюхаетъ, медленно-медленно, вздрагивая всѣмъ тѣломъ, выцѣживаетъ водку сквозь зубы, долго держитъ чашку надъ запрокинутымъ ртомъ.

Крякаетъ, сплевываетъ, трясетъ головой, улыбается:

— Шутники!

Лицо его начинаетъ принимать человѣческое выраженіе. Всѣ хохочутъ, и онъ самъ смѣется вмѣстѣ съ другими.

Румяный лавочный мальчишка радъ и счастливъ больше всѣхъ. Онъ только трясетъ головой и говоритъ съ величайшимъ презрѣніемъ:

— Ну-у, чортушка!

Эта шутка продолжается довольно часто. Всегда сопровождается припадкомъ у «Чудовского» и кончается къ общему удовольствію.

«Чудовской», въ концѣ-концовъ, хохочетъ самъ, кланяется въ ноги Власову, проситъ прощенья, что надерзилъ и, чтобы загладить вину, изо всѣхъ силъ провозглашаетъ:

— Боларынѣ Аккелинѣ мно-о-огая лѣ-ѣ-ѣта...

И несется этотъ громоподобный голосъ, отъ котораго дрожатъ стекла, по всему тупичку, слышится всюду, залетаетъ въ подвальный этажъ дома Спесивцева, гдѣ съ ранняго утра

сидитъ за шитьемъ жена «Чудовского»—Олимпіада Ивановна.

Двадцать лѣтъ Олимпіада Ивановна замужемъ а до сихъ поръ, когда до нея доносится съ улицы это «мно-о-ога ая лѣ-ѣ-ѣта-а-а»,—она вздрагиваетъ, съеживается, становится словно меньше ростомъ, словно ее бьютъ, пытаютъ. Руки у нея дрожатъ, пальцы не держатъ иголки. Олимпіада Ивановна каждый разъ давится слезами. Ей нечѣмъ дышать.

II.

Жена шута.

Олимпіаду Ивановну всѣ жалѣютъ.

Олимпіада Ивановна, не разгибаясь, сидитъ за работой съ самаго ранняго утра до поздней ночи. Она отличная рукодѣльница и обшиваетъ весь тупичокъ. Шьетъ бѣлье для жильцовъ, костюмчики для ихъ дѣтей, наряды для прислуги.

— Зато, за что ей надо бы заплатить рубль,—ей платятъ 20 к.

— Вѣдь такъ даемъ. Изъ жалости!

Съ Олимпіадой Ивановной никогда не условливаются насчетъ цѣны. Что дадутъ, то и ладно!

Вотъ еще! Разбиратъ она станетъ! Вѣдь изъ жалости!

Она пробовала было разъ заикнуться:

— Маловато!

Но это возмутило весь тупичокъ:

— Вотъ и дѣлай добро людямъ! Ихъ жалѣешь, даешь имъ работу, а они, не угодно ли! Эти люди никогда ничѣмъ не довольны.

Олимпіада Ивановна перестала торговаться, боясь прослыть «неблагодарной тварью» и лишиться заказовъ.

Когда Олимпіадѣ Ивановнѣ даютъ заказъ, ей непремѣнно говорятъ:

— Смотрите, матушка, чтобы вашъ негодяй еще не пропилъ матеріи!

Хотя «негодяй» никогда ничьей матеріи не пропивалъ. Не потому, чтобы онъ не хотѣлъ этого. Онъ бы пропилъ съ большимъ удовольствіемъ. А потому, что Олимпіада Ивановна дрожитъ и слѣдитъ за чужой матеріей пуще, чѣмъ за своимъ глазомъ. Ложась спать, она укладываетъ заказы въ сундукъ,—единственный сундукъ, на которомъ она спитъ, запираетъ

сундукъ на ключъ, ключъ вѣшаетъ на шею вмѣстѣ съ крестомъ и, просыпаясь ночью, всегда еще освѣдомится, здѣсь ли ключъ, на шеѣ ли.

Когда Олимпіадѣ Ивановнѣ платятъ гроши за работу, ей непремѣнно читаютъ нотацію и выговариваютъ:

— Кажется, умная женщина, а не можете унять вашего мужа. Вѣдь это же безобразіе. Отъ этого пьяницы житья нѣтъ. Ей Богу, придется жаловаться въ полицію. Ну, что съ вами тогда будетъ? Хорошо, что вы живете въ тупичкѣ. Жалѣя вашихъ дѣтей, вамъ здѣсь даютъ работу. А въ другомъ мѣстѣ, что вы станете дѣлать. Съ голоду помрете съ дѣтьми!

И Олимпіада Ивановна, давясь слезами, уходитъ послѣ такихъ нотацій, поблагодаривъ.

Они живутъ въ подвалѣ, въ домѣ Спесивцева, и платятъ за комнату и кухню 7 рублей въ мѣсяцъ. Раньше эта квартира ходила 5 рублей, но домовладѣлецъ набавилъ два:

— Помилуйте, матушка, кто васъ держать будетъ съ такимъ оралой? Каждый день пьяный! Только жалѣючи васъ, держу. Куда вы съ дѣтьми дѣнетесь? А то сталъ бы я терпѣть этакое безобразіе? Да ни за какія деньги — за десять рублей не сталъ бы держать! Весь домъ своимъ мужемъ покостите!

И весь тупичокъ находилъ:

— Еще слава Богу, что Спесивцевъ добрый человѣкъ, держитъ ихъ!

И Олимпіада Ивановна, платя 7 рублей за квартиру, которая всегда ходила по пяти, должна была еще благодаритъ, что ее жалѣютъ.

Олимпіадѣ Ивановнѣ лѣтъ подъ сорокъ. Изъ нихъ пятнадцать она провела въ подвалѣ, не разгибаясь, за работой. А все-таки ея блѣдное, безкровное лицо осталось красивымъ и привлекательнымъ. Словно очень хорошій художникъ вылѣпилъ изъ прозрачнаго воска эти тонкія и благородныя черты. Она — никогда не улыбающаяся кротость и покорность.

Въ дѣвушкахъ она была очень красива. Олимпіада Ивановна—дочь мелкаго чиновника. Ее кой-чему научили, даже по французски. Такъ, немного, словъ двадцать. Когда собирались гости, ей говорили:

— Липочка, говори по-французски:

И она говорила:

— Mon père est bon, ma mére est aussi bonne. Voulez-vous prendre la peine d'asseyr vous.

Къ великой гордости родителей и удовольствію всѣхъ гостей.

Когда ей исполнилось 20 лѣтъ, ее выдали за «хорошаго человѣка».

Теперешній «Чудовской» тогда ходилъ въ хорошей парѣ, всегда при часахъ и при цѣпочкѣ. У него былъ великолѣпный басъ. Онъ служилъ, въ лучшемъ въ Москвѣ, въ Чудовскомъ хорѣ. Его ходили слушать.

Когда онъ въ «Славѣ въ вышнихъ Богу» дѣлалъ solo и «поднималъ»: «кланяемтися, благодаримъ Тя!» — казалось, своды рухнутъ. Такой это былъ громовой голосъ.

Купцы его очень любили. Не обходилось даже и безъ купчихъ. Изъ-за этого Олимпіадѣ Ивановнѣ пришлось пролить не мало слезъ.

«Чудовской» всегда былъ въ хорошей компаніи. Купцы его поили, особенно передъ праздниками, умоляя:

— Хвати-ка завтра за авсенощной какъ слѣдуетъ!

Понемножку, понемножку «хорошаго человѣка» споили. Онъ сталъ пить безъ просыпа. Изъ хора его выгнали. Изъ «хорошихъ компаній» тоже. Онъ пошелъ по трактирамъ,—и началось «возглашеніе многолѣтій».

Съ тѣхъ поръ они живутъ по подваламъ.

Кромѣ дочери, у Олимпіады Ивановны два сына. Старшему, Ванькѣ, лѣтъ семнадцать. Въ тупичкѣ его зовутъ «Малоѣшкой». Иначе его никто и не знаетъ.

— Вонъ «Малоѣшка» домой идетъ. Опять морда разбита!

Это его «nom de la guerre». Подъ этой кличкой онъ извѣстенъ среди босяковъ «золоторотцевъ».

«Малоѣшку» никогда ничему не учили, кромѣ грамоты, которой выучила его мать.

Отецъ все собирался:

— Вотъ займусь съ подлецомъ! Обучу партезному пѣнію. Такой тенорище будетъ,—запоешь! Отца въ Чудовскомъ превзойдетъ! Иначе, какъ въ Чудовской, не отдамъ. Получайте!

Но за недосугомъ сдѣлать этого не собрался.

До 16 лѣтъ Ванька проигралъ въ бабки съ мальчишками, къ великому негодованію всѣхъ:

— Этакій жердяй, — и въ бабки! Отецъ пѣетъ,—битъ тебя некому!

А затѣмъ Ванька пошелъ въ «золоторотцы», превратился въ «Малоѣшку» и всегда ходитъ съ неподсыхающей разбитой губой и однимъ глазомъ, запухшимъ отъ синяка.

Когда онъ возвращается домой ужъ особенно избитый, мать принимается его усовѣщивать:

— Хоть бы стѣнъ постыдился, ежели ужъ людей не совѣстно. Ну, куда ты ходишь? Куда ты ходишь?

На что «Малоѣшка» мрачно отвѣчаетъ:

— Куда хожу? На работу хожу! Извѣстно, куда хожу! На желѣзную дорогу работать хожу!

— Знаю ужъ я твою работу!

— Много вы знаете!

— Сгнѣешь въ острогѣ.

— Держите карманъ шире! Дожидайтесь!

«Малоѣшка» съ кучей золоторотцевъ «слоняется» по Спасской улицѣ, идущей отъ вокзала. По улицѣ тянутся нескончаемыми вереницами въ нѣсколько рядовъ обозы.

Когда везутъ тюки съ ватой, одинъ изъ золоторотцевъ, переходитъ черезъ улицу, на ходу прорѣзаетъ тюкъ, и товарищи гуськомъ, другъ за другомъ, перебѣгаютъ черезъ улицу, вырывая изъ разрѣзаннаго тюка по клочку. Такъ до тѣхъ поръ, пока извозчики не замѣтятъ, не поймаютъ кого-нибудь и не «накладутъ какъ слѣдуетъ». Тогда золоторотцы идутъ продавать наворованную вату. А потомъ принимаются такимъ же манеромъ «усыпать» изъ мѣшковъ крупу, муку, мелкій сахаръ,—что попадется.

Разъ какъ-то разбили бочку съ ромомъ. «Малоѣшка» такъ хлебнулъ изъ лужи, что сдѣлалъ нѣсколько шаговъ и упалъ. Онъ одинъ и попалъ въ руки къ извозчикамъ. Извозчики садились на него, топтали ногами, поднимали, держали, били наотмашь, опять бросали на мостовую и снова

топтали ногами. «Малоѣшка очнулся въ пріемномъ покоѣ, весь въ крови, не могъ двинуть ни рукой ни ногой. Онъ пролежалъ два мѣсяца въ больницѣ и сталъ съ тѣхъ поръ чахнуть, сохнуть и кашлять кровью.

— Хоть бы прибралъ тебя Господь Богъ поскорѣе!—вздыхаетъ Олимпіада Ивановна.

— Держите карманъ шире!—отвѣчаетъ, кашляя кровью, «Малоѣшка».

Дома «Малоѣшка» никогда не ѣстъ. Онъ не любитъ.

— Жимолость, а не ѣда!

Послѣ дѣлежки онъ идетъ въ закусочную, ѣстъ рубца, печенки, — на оставшіяся копейки сидитъ гдѣ-нибудь въ тѣни подъ заборомъ и играетъ въ орлянку, стараясь изо всѣхъ силъ мошенничать.

Спать домой «Малоѣшка» приходитъ все рѣже и рѣже.

— То ли дѣло ночлежный! Люди! Все слышишь, все знаешь, про все разговоръ. Мужикъ съ заработковъ идетъ. Мошна деньжищъ! Сейчасъ съ нимъ въ орелъ-рѣшетку. Компанію составишь,—сейчасъ это съ двумя орлами монету достанешь. Обдувай, да и только. Наигралъ денегъ—и дрыхни.

Въ ночлежномъ онъ бьетъ, его бьютъ, у него воруютъ, но и онъ къ пьяному и къ спящему въ карманъ лѣзетъ.

— Нѣтъ денегъ, не поспалъ ночь, — и нашаришь. Одно слово, ночлежный!

— Все ближе да ближе къ острогу идешь!— плачетъ Олимпіада Ивановна.

— Держите карманъ шире!

Когда «Малоѣшкѣ» ужъ совсѣмъ плохо,—онъ принимается за черную работу.

Ходитъ на желѣзную дорогу, на дровяной дворъ, гдѣ разгружаютъ платформы съ дровами. Собираетъ въ мѣшокъ кору, щепки, старается стащить нѣсколько цѣлыхъ полѣньевъ,—и тащитъ продавать это хозяйкамъ въ тупичокъ.

Жильцы тупичка покупаютъ это охотно и часто говорятъ Олимпіадѣ Ивановнѣ:

— Хоть бы вы своему «Малоѣшкѣ» сказали. Принесъ бы съ желѣзной дороги дровецъ. Кажется, могъ бы изъ благодарности! Матери работу даемъ. Долженъ бы чувствовать!

— Хорошо, я скажу!

— Да чтобъ дрова были, а не щепки. А то что толку! Кора да щепки. Пустъ дровъ въ середку накладетъ, а сверху корой да щепками прикроетъ. Оно и незамѣтно.

— Хорошо, я скажу.

Но «Малоѣшка» этого занятія не любитъ. Подбиратъ кору и щепки дозволяется, а за дрова, того и гляди, самъ полѣномъ по ногамъ получишь.

Затѣмъ всякій разъ, какъ притащитъ тяжелый мѣшокъ съ дровами, «Малоѣшка» долго не можетъ отдышаться и сильнѣе харкаетъ кровью.

А наконецъ, въ тупичкѣ и платятъ мало.

— Нѣтъ, нѣтъ!—обыкновенно машутъ руками, когда «Малоѣшка» втаскиваетъ въ кухню мѣшокъ дровъ. — Убирайся! Убирайся! Чтобъ и духу твоего не было! Еще стащишь что-нибудь!

Приходится упрашивать:

— Христа ради, купите! Будьте такіе добрые! Ей Богу, на хлѣбъ!

И только послѣ долгихъ уговоровъ соглашаются:

— Развѣ ужъ такъ, изъ жалости! Получай семь копеекъ!

— Ужли жъ это семь копеекъ стоитъ! Господи! Въ другихъ мѣстахъ по двугривенному платятъ!

— Ну, и неси въ другія мѣста, чтобъ въ участокъ отправили.

— Ды вы обратите вниманіе, какія полѣнья! Трактирное полѣно. Прямо плаха, а не полѣно.

На трактиры берутъ плиту топитъ. Этакихъ-то полѣньевъ набратъ! Чутъ не убили!

— Еще бы! Ты воровать будешь, а тебя по головкѣ гладить!

— Дайте хотъ гривенничекъ!

— Бери семь копеекъ. И то такъ только, изъ жалости!

И «Малоѣшка» беретъ семь копеекъ.

При заказѣ, при расплатѣ Олимпіадѣ Ивановнѣ читаютъ нотацію не только за мужа-безобразника, но и за сына-вора:

— До чего, матушка, вашъ сынъ дошелъ! Стыдились бы!

Олимпіада Ивановна только машетъ рукой, и на глазахъ ея слезы:

— Какой онъ мнѣ сынъ! Отошелъ онъ отъ меня. Ну, да ему и жить тоже недѣлю осталось. Кровью исходитъ.

Всю свою нѣжность, всю любовь перенесла Олимпіада Ивановна на младшаго сына, шестилѣтняго Володю,— «Головастика», какъ зоветъ его тупичокъ. Вся жизнь ея въ «Головастикѣ».

Володя чрезвычайно маленькій для своихъ лѣтъ, блѣдный мальчикъ, на тоненькихъ ножкахъ, съ руками, какъ жердочки, съ большимъ животомъ и огромной головой, покрытой совсѣмъ бѣлыми, рѣдкими волосами. У него англій-

ская болѣзнь, онъ долго не ходилъ, сидѣлъ въ песочкѣ и теперь еще ходитъ робко, неувѣренно, — вотъ-вотъ упадетъ.

Когда Олимпіаду Ивановну встрѣчаютъ вмѣстѣ съ Володей, всякій въ тупичкѣ считаетъ своимъ долгомъ пожалѣть больного мальчика:

— Какой онъ у васъ замореный. Прямо не человѣкъ, а головастикъ!

И только одна Олимпіада Ивановна знаетъ, что онъ красавецъ!

Когда Олимпіада Ивановна приходитъ къ заказчикамъ, тѣ считаютъ своимъ долгомъ упомянуть и о «Головастикѣ».

— Ну, что у васъ изъ этого «Головастика» выйдетъ? Отецъ паяцъ и пьяница. Ну, и выйдетъ такой же жуликъ, какъ «Малоѣшка!» Прямо жаль ребенка!

Послѣ чего Олимпіада Ивановна уходила съ такимъ чувствомъ, словно ей наплевали въ душу.

Олимпіада Ивановна точно такъ же, какъ теперь «Головастика», любила и «Малоѣшку», когда онъ былъ маленькій, когда о немъ надо было думать, заботиться, когда его нужно было только напоить, накормить. Она съ такой же любовью растила его, пока не отшатнулась съ ужасомъ и горемъ, глядя, какъ Ванечка все

больше и больше превращается въ отчаяннаго «Малоѣшку».

Эта мысль, что она такъ же любила и Ванечку, не даетъ Олимпіадѣ Ивановнѣ покоя, отравляетъ ей всѣ минуты радости.

Она часто подолгу смотритъ на своего мальчика, и слезы все больше и больше наполняютъ ей глаза.

— На что я его ращу? На что онъ готовится?

И она въ такія минуты сильнѣе только прижимаетъ его къ себѣ и горяче плачетъ и крѣпче цѣлуетъ.

Володѣ нуженъ воздухъ. Но выпускать его изъ подвала на улицу Олимпіада Ивановна боится.

Володя едва держится на тоненькихъ и больныхъ ножкахъ, — у него, кромѣ англійской болѣзни, еще и золотуха. Онъ начинаетъ играть съ дѣтьми, сейчасъ же падаетъ, ушибается и начинаетъ плакать. Слыша дѣтскій плачъ, всякая мать бѣжитъ посмотрѣть:

— Ужъ не мой ли?

И тогда въ тупичкѣ поднимается содомъ. Матери хлещутъ своихъ дѣтей:

— Опять съ «Головастикомъ?» Нѣтъ у васъ своей компаніи?

Со всѣхъ сторонъ кричатъ:

— Олимпіада Ивановна! Да что жъ это на самомъ дѣлѣ? Уберите вы вашего коростоваго! Сначала вылѣчите съ него коросту, а потомъ ужъ и выпускайте на улицу играть съ дѣтьми. Народятъ тоже коростоваго добра!

По праздникамъ Олимпіада Ивановна любитъ одѣвать своего «коростоваго» во «все новенькое», во все нарядное.

Какъ ужъ ни бѣдно,— а новенькіе сапожки съ красными сафьяновыми отворотами лежатъ въ сундукѣ.

Олимпіада Ивановна сажаетъ «Владимира» на табуретъ, натягиваетъ ему чулочки «до колѣночекъ», сапожки, надѣваетъ шерстяную рубашку, повязываетъ поясъ съ кисточками, за поясъ затыкаетъ платочекъ, присыпаетъ присыпкой золотуху на лицѣ, со слезами умиленія смотритъ на него, любуется имъ, цѣлуетъ его:

— Красавчикъ ты мой!

И ведетъ за руку на улицу.

— Вотъ здѣсь, около нашего окошечка, и играй, дѣточка. Мама будетъ въ окошкѣ работать, а ты около окошка песочкомъ играть.

Олимпіада Ивановна работаетъ и по праздникамъ точно такъ же съ утра до поздней ночи. Иначе бы при грошевой платѣ имъ и не прожить.

— Ты здѣсь играть будешь, а я на тебя изъ окошечка смотрѣть. Будь умница!

Она гладитъ Володю по огромной головѣ, идетъ домой, садится у окна за работу, по временамъ посматриваетъ на Володю, который изображаетъ себѣ разныя игры «съ песочкомъ», улыбается ему, киваетъ головой и говоритъ:

— Умница!

А «Чудовской» ужъ замѣтилъ, что «Володька» въ новыхъ сапогахъ вышелъ на улицу.

«Чудовской» подходитъ къ лавочному мальчишкѣ и, выдѣлывая руками какія-то затѣйливыя шутки, чтобъ задобрить лавочнаго мальчишку, говоритъ:

— Дай пряничекъ. Я такой сейчасъ камуфлетъ выкину,—аллегорія!..

Лавочный мальчишка очень любитъ непонятныя слова. Когда онъ слышитъ непонятное слово, онъ прыскаетъ со смѣха.

— Говорю же тебѣ: дай пряничекъ, чортъ! Фантасмагорія будетъ!

Но лавочный мальчишка не такъ скоро сдается:

— Вотъ еще! Каждому пряники раздавать. Сладко будетъ!

— Да говорятъ тебѣ, для каламбура! Абракадабру произведу!

— Ну, и чортушка!—хохочетъ лавочный мальчишка и нехотя подаетъ мятный пряникъ, выбравъ, который погрязнѣе и посуше.

«Чудовской», сдѣлавъ хитрое лицо, на цыпочкахъ крадется вдоль стѣнки.

Лавочный мальчишка заранѣе давится отъ смѣха.

«Чудовской» вполголоса, чтобъ жена не услыхала, кличетъ:

— Володя!

И показываетъ пряникъ.

— Пойди сюда! Пойди, мальчичекъ! Папа тебѣ пряничекъ даетъ! Ахъ, вкусный пряничекъ!

И «Чудовской» дѣлаетъ видъ, что откусываетъ пряникъ.

— Ахъ, вкусенъ! Пойди сюда, мальчичекъ! Хочешь пряничка?

У мальчика разгораются глаза. Онъ смотритъ на отца, взглядываетъ съ испугомъ украдкой на окно,—не смотритъ ли мать.

Нѣтъ, не смотритъ!

Володя нерѣшительно, своими невѣрными шажками, идетъ къ отцу.

— Иди, иди скорѣй, мальчичекъ!

Володя около. Отецъ даетъ ему пряникъ, схватываетъ подъ мышки, несетъ, сажаетъ на высокую скамейку у сосѣднихъ воротъ, ста-

новится на колѣни и снимаетъ съ мальчика сапоги.

— Молчи! Молчи! Кушай!

Онъ проворно развязываетъ на мальчикѣ поясокъ, снимаетъ рубашку, на минутку останавливается въ раздумьѣ передъ панталонами, но рѣшаетъ:

— Не стоитъ! Возни много!

Схватываетъ все въ охапку и во весь духъ пускается бѣжать изъ тупичка.

Оставленный на высокой скамейкѣ раздѣтый «Головастикъ» принимается орать благимъ матомъ.

Кажется, всѣ дѣти, когда орутъ, орутъ одинаково. А мать всегда разберетъ даже тихое всхлипываніе *ея* сына.

Заслышавъ плачъ, Олимпіада Ивановна вздрагиваетъ, смотритъ въ окно. Нѣту! Выбѣгаетъ на улицу. Оглядывается по сторонамъ.

А лавочный мальчишка корчится отъ хохота, указывая пальцемъ на Володю съ пряникомъ и на скамейкѣ:

— Ой, батюшки, сдохну! Ой, родимые, сейчасъ поколѣю!

Олимпіада Ивановна видитъ раздѣтаго сына, всплескиваетъ руками, блѣднѣетъ, какъ полотно, шатается.

— Снялъ!

А вѣдь эти сапожки... Она по ночамъ сидѣла за работой, мечтая, какіе сапожки купитъ Володѣ съ красными отворотами. Себя убивала. По копейкамъ откладывала...

Земля плыветъ у нея подъ ногами. Она шатается и вдругъ съ ужасомъ кидается къ ребенку и выхватываетъ у него замусоленный пряникъ:

— Сладкаго дали золотушному ребенку!

Она беретъ Володю на руки и, шатаясь, несетъ домой и тамъ цѣлуетъ его, цѣлуетъ и плачетъ и рыдаетъ, приставивъ къ груди его огромную голову, покрытую рѣдкими волосами.

— Вмѣстѣ бы намъ съ тобой умереть! Вмѣстѣ!

— Ну, ужъ и мать! Хороша тоже мать!— говорятъ про Олимпіаду Ивановну въ тупичкѣ.

Олимпіада Ивановна разъ чуть не убила Володю.

Было это такъ.

Въ ясный, жаркій, солнечный день Володя гулялъ по мостовой.

Въ жарѣ, въ духотѣ, выпивши, около лавочницы, Власовъ сидѣлъ въ лавкѣ, какъ разваренный.

«Чудовской» направо, стоя у дверей, упрашивалъ:

— Дозвольте провозгласить.

Власовъ отмахивался отъ него, какъ отъ мухи.

— Въ этакую-то жару да орать! Пшелъ... Нешто вотъ что...

Власовъ увидѣлъ игравшаго «съ песочкомъ» Володю, и ему въ голову пришла мысль:

— Выкупай въ пыли своего пащенка! А то ужъ больно твоя Кирибитьевна чистеха, этакого паршивца ровно княжеское дите держитъ!

Лавочница фыркнула:

— Ужъ и выдумаете! Одно слово, выдумщики!

Польщенный и подзадоренный, Власовъ настаивалъ:

— Выкупай! Чашку водки получишь!

«Чудовской» пожималъ плечами и смущенно улыбался:

— Помилте! Нешто возможно!

Но тутъ вступилась лавочница. Она приняла необыкновенно оскорбительный видъ:

— Что жъ, ежели вамъ ваша Олимпіада Ивановна дороже вашего благодѣтеля,— можете и убираться на всѣ четыре стороны прочь отъ нашей лавки! Посмотримъ, много ли она вамъ водки поднесетъ.

Власовъ былъ раззадоренъ окончательно:

— Вѣрно! Ежели тебѣ всякое коростовое отродье дороже меня, убирайся къ чертямъ. Нѣтъ больше моего съ тобой разговора! И чтобъ не видалъ я тебя никогда! Мальчонка налейко-съ чашечку покрѣпче. Пустъ понюхаетъ.

Лавочный мальчишка, предвкушая удовольствіе, налилъ чашечку и вынесъ:

— Вотъ она, водка-то! Э-эхъ- хороша!

«Чудовской», поглядѣвъ на водку, пожалъ плечами:

— Извольте-съ.

— Давно бы такъ!

— Только дозвольте пряничекъ. Безъ пряничка мой сынъ къ родному отцу никогда не пойдетъ. Въ такихъ правилахъ матъ ужъ воспитала!

Въ лавкѣ всѣ фыркнули:

— Хороша матъ!.. Датъ ему пряникъ.

Власовъ разошелся:

— И мальчонкѣ отъ меня конфету съ картинкой! Ежели матъ такая ехидна, — пущай отъ чужого человѣка дите ласку видитъ. Двѣ ему датъ!

«Чудовской» подманилъ мальчика, давъ ему пряникъ.

— Ложись, дѣточка, на землю.

Мальчикъ не понималъ, смотрѣлъ на всѣхъ съ испугомъ и готовъ былъ заплакать.

— Не бойся, не бойся, дѣточка! Дяди добрые! Дяди тебѣ ничего не сдѣлаютъ. Они конфетку мальчику дадутъ! Видишь съ картинкой конфетку? Ложись, родненькій!

— Нѣтъ, стой. Этакъ что! Ты его водой сначала полей,—вошелъ во вкусъ Власовъ.

— Ой, выдумщики! Ой, выдумщики! — покатывалась со смѣха лавочница.

— Водой сначала... Чего водой? Мальчонка давай копеечнаго квасу!

«Чудовской» остановился:

— Господа!

— Чего тамъ! Валяй! Видишь, люди въ духѣ!

Лавочный мальчишка, прыская отъ смѣха, полилъ «Головастика» копеечнымъ квасомъ. «Чудовской» положилъ его на землю и покатилъ по пыли.

— Вотъ такъ, дѣточка! Вотъ такъ, милый! Господа добрые!

Ребенокъ поднялся съ земли весь въ пыли, въ грязи, мокрый.

Лавочка покатилась отъ хохота.

Володя собрался было плакать, сморщилъ грязное лицо, но «Чудовской» поспѣшилъ дать ему конфетку:

— Видишь, какая картинка! И больше ничего! И не больно и конфетку получил!..

Мальчикъ улыбнулся.

— Валяй еще разъ! Пущай самъ прокатится. Еще конфету жертвую!

— «Чудовской» радостно смѣялся:

— Прокатись, прокатись, дѣточка! Еще конфетку получишь. Много будетъ у тебя конфетокъ! Прокатись, милый!

Засмѣялся и ребенокъ. Потянулся руками къ конфетѣ въ золотой бумажкѣ съ бахромой.

— Нѣтъ, прокатись сначала! Вотъ какъ я тебя катал.

— Ишь, въ отца жуликъ! Сначала конфету давай!—хохотали въ лавочкѣ.

А потомъ къ мамашѣ пойдешь, покажешься: вотъ, молъ, я какой, красавецъ! — надрывалась лавочница. — Пущай полюбуется Олимпіада-то Ивановна!

— Прокатись сначала!

Володя засмѣялся, легъ и началъ кататься по пыли.

Изъ оконъ высовывались люди.

— Братцы, сюда! Братцы, сюда! «Чудовской» съ «Головастикомъ» представленіе даетъ!—закричали дѣти на улицѣ.

Отъ этого крика захолонуло сердце у Олимпіады Ивановны.

Она выскочила на улицу, кинулась въ толпу, собравшуюся у лавочки.

Она ничего не понимала, что тутъ происходитъ.

Володя, увидавъ мать, поднялся весь въ пыли, весь въ грязи и радостно кричалъ:

— Мама! Мама, иди сюда! Я катаюсь, а мнѣ за это конфетку даютъ.

Олимпіада Ивановна дико оглянулась. Тутъ она, кажется, въ первый разъ замѣтила ржущую толпу. Она схватилась за голову, долго пронзительно кричала.

— Шутъ, какъ отецъ шутъ!

Изо всѣхъ силъ ударила Володю по головѣ. «Головастикъ» съ воплемъ упалъ. Олимпіада Ивановна кинулась на него. Ее схватили за руки.

— Держите!

— Убьетъ!

— Хороша мать!

Она боролась, царапалась, кусалась. Кто-то въ борьбѣ «влѣпилъ» ей нѣсколько кулаковъ.

— Такъ ей! Не убивай собственное дѣтище! Полицію!

Олимпіада Ивановна опомнилась, схватила ревѣвшаго Володю на руки и бѣгомъ убѣжала домой.

У окна подвала собрался народъ:

— Что тамъ еще?

— Еще убьетъ!

— Человѣкъ не въ себѣ. Въ полицію бы ее!

— Какая тамъ полиція! Посѣчетъ ребенка, да и все.

Но что происходило въ подвалѣ—неизвѣстно.

Олимпіада Ивановна задернула окно занавѣской.

Слыша, что тамъ все тихо, жители тупичка потолковали, посмѣялись, понегодовали на скверную матъ и разошлись.

Олимпіада Ивановна много дней потомъ сидѣла за работой съ повязанной головой.

Принеся Володю домой, она изо всей силы хватилась головой объ уголъ и долго лежала безъ чувствъ.

Грушенька думала, что матъ померла.

Грушенька — дѣвушка лѣтъ восемнадцати. Въ то время, когда матъ работаетъ на заказчиковъ, Грушенька дѣлаетъ все по хозяйству.

Ихъ отношенія съ матерью—отношенія добрыхъ друзей. Но Грушенька — ужасъ матери. О мужѣ Олимпіада Ивановна думаетъ съ горемъ, о «Малоѣшкѣ»—со скорбью, о Володѣ—съ безконечною любовью,—но когда она задумывается

о Грушенькѣ, ее охватываетъ ужасъ—она блѣднѣетъ и шепчетъ:

— Господи!.. Спаси... Спаси...

III.

Грушенька.

Соловьевъ—самый почтенный домовладѣлецъ въ тупичкѣ.

У Соловьева посудная лавка у Сухаревой башни.

— Въ два раствора!—съ гордостью говоритъ тупичокъ.

Каждое утро, ровно въ семъ часовъ, Соловьевъ съ приказчиками и мальчиками выходитъ изъ дома. Выходя, всѣ крестятся на всѣ четыре стороны,—и идутъ, торжественно, словно пансіонъ какой-нибудь. Впереди попарно мальчишки, за ними приказчики, позади всѣхъ, какъ гувернеръ, идетъ старикъ Соловьевъ, позвякивая въ карманѣ ключами.

Тупичокъ такъ ужъ и время знаетъ:

— Семъ часовъ. Соловьевы отпираться пошли.

Вечеромъ, въ половинѣ восьмого, возвращаются въ томъ же порядкѣ.

Сынъ Соловьева,—«молодой Соловьевъ», какъ зоветъ его тупичокъ въ отличіе отъ «самого Соловьева», — возвращается отдѣльно. Онъ человѣкъ молодой, и ему надо погулять.

Молодому Соловьеву двадцатый годъ. Онъ франтъ, носитъ галстуки то пунцовый, то лиловый, то оранжевый, затыкаетъ ихъ булавкой съ изображеніемъ колеса съ крыльями или голубя, несущаго письмо. Ходитъ съ тросточкой. Тупичокъ находитъ его очень красивымъ.

Въ воскресенье, придя отъ обѣдни, жильцы въ тупичкѣ говорятъ:

— Молодой Соловьевъ въ церкви стоялъ. Чистая картинка.

Молодой Соловьевъ выросъ на глазахъ тупичка. Когда у него начали пробиваться усики,— это было событіе для всего тупичка.

— У молодого-то Соловьева! А! Усы ужъ пробиваться стали! Какъ время-то летитъ!

— Давно ли въ бабки игралъ!

— Мужчина!

Въ тупичкѣ идутъ нескончаемые споры, на комъ его женятъ.

— Въ тупичкѣ и женится. Ушакова-то на что? У нихъ дочь, у Соловьевыхъ сынъ. Дома рядомъ, садъ съ садомъ. Чего лучше?

Другіе полагаютъ:

— Изъ посуднаго семейства невѣсту возьмутъ. Сами посудой занимаются и невѣсту такую же возьмутъ! Посуда къ посудѣ!

Ходятъ и такіе слухи:

— Гробовщика дочь сватаютъ. Гробовщикъ у нихъ сосѣдъ по лавкѣ.

И весь тупичокъ жилъ въ ожиданіи:

— Посмотрѣть на свадьбу!

Какъ вдругъ...

Стоялъ май. Веселый и ясный. Какъ ни попахивало вонью со дворовъ въ тупичкѣ, а все-таки въ воздухѣ пахло весною. Береза распустила клейкіе, вырѣзные листочки, цвѣла желтая акація, пухъ отъ тополей носился въ воздухѣ и словно снѣгъ ложился по сухимъ канавкамъ. Подъ заборами зеленѣла трава. Было тепло и славно.

Передъ вечеромъ Грушенька гуляла. «Гулять» называлось у нея стоять у воротъ.

Грушенька—бѣдная дѣвушка, съ болѣзненнымъ лицомъ, покрытымъ веснушками и нѣжно-голубыми кругами подъ глазами. Въ хорошую погоду, убравшись съ хозяйствомъ, она въ сумеркахъ всегда выходитъ «погулять» у воротъ, пока ни смеркнется.

Передъ глазами происходило то же, что она видѣла изъ года въ годъ, изо дня въ день. По-

шли Соловьевскïе приказчики, при чемъ Грушенька поклонилась «самому Соловьеву», какъ она кланялась вообще всѣмъ домовладѣльцамъ. Потянулись безконечной полосой биндюги Власовскихъ извозчиковъ, возвращающихся домой. Мальчишка отъ сапожниковъ, свистя по дорогѣ, «какъ оглашенный», побѣжалъ съ кувшиномъ въ лавочку за квасомъ. Мальчишка отъ столяровъ прошелъ съ огромнымъ чернымъ хлѣбомъ на головѣ, жуя баранку, которую ему ежедневно даютъ въ пекарнѣ въ видѣ премïи. Значитъ, скоро восемъ часовъ.

Въ это время мимо прошелъ, помахивая тросточкой, молодой Соловьевъ.

Проходя мимо Грушеньки, онъ взглянулъ на нее и почему-то снялъ шляпу и поклонился. Грушенька удивилась, поклонилась въ отвѣтъ и съ недоумѣнïемъ посмотрѣла ему вслѣдъ.

А онъ, отойдя нѣсколько шаговъ, остановился, повернулъ и нерѣшительно пошелъ къ Грушенькѣ.

У Грушеньки почему-то подкосились ноги.

— Желаете орѣшковъ?—спросилъ Соловьевъ, доставая изъ кармана пиджака горсть кедровыхъ орѣховъ.

— Ахъ, что вы! Что вы!—испуганно воскликнула Грушенька.

Онъ былъ смущенъ, она была перепугана.

Онъ старался улыбнуться, но улыбка выходила у него неловко, жалко и криво. Она стояла ни жива ни мертва.

— Отчего жъ вы, напримѣръ... не желаете орѣшковъ?—заикаясь, спросилъ онъ.

— Нешто можно!

Она покраснѣла до корней волосъ, потомъ поблѣднѣла. Ноги у нея дрожали. Грушенька пришла въ себя, когда молодой Соловьевъ отошелъ уже нѣсколько шаговъ, стараясь насвистывать, что у него на этотъ разъ не выходило.

Онъ оглянулся. Грушенька вся вспыхнула и убѣжала во дворъ.

Въ этотъ вечеръ, накрывая ужинъ, она была сама не своя. Руки у нея дрожали, соль она просыпала, хлѣбъ уронила на полъ. Матери она почему-то ничего не сказала.

Въ этотъ вечеръ Грушенька долго не могла заснуть: все думала:

— Съ чего это онъ?

И вдругъ начала чего-то боятся.

На слѣдующій день Грушенька опять «гуляла» у воротъ, когда показался изъ-за угла «молодой Соловьевъ». Увидавъ его издали, она вспыхнула и убѣжала во дворъ. Даже разсердилась:

— Какіе охальники! Даже погулять невозможно.

Еще на слѣдующій день, «гуляя» у воротъ, она засмотрѣлась на кошку, которая царапалась на заборъ, какъ вдругъ услыхала у самаго плеча голосъ:

— Какія вы гордыя!

У Грушеньки подкосились ноги. Она обернулась, поблѣднѣла, похолодѣла вся и глазами, полными ужаса, смотрѣла на молодого Соловьева. А онъ застѣнчиво, хотя все-таки смѣлѣе, улыбался, держалъ въ рукѣ кедровые орѣшки и слегка дрожащимъ голосомъ говорилъ:

— Пожалуйте ваши орѣшки. Такъ-съ въ карманѣ и ношу-съ. Потому ваши.

Эти слова почему-то показались Грушенькѣ чрезвычайно пріятными и хорошими. Она покраснѣла и съ тревогой оглянулась кругомъ.

— Что вы? Что вы? Еще увидятъ!

А онъ стоялъ съ раскрытой ладонью и говорилъ, улыбаясь:

— Не будьте такія гордыя! Возьмите!

Грушенька застѣнчиво улыбалась и взяла два орѣшка. «Ахъ, какая я подлая!» воскликнула она въ душѣ.

— Зачѣмъ же непремѣнно такъ мало? Они маленькіе-съ...

И молодой Соловьевъ высыпалъ ей въ руку цѣлую пригоршню орѣховъ.

— Куда мнѣ столько? Что вы дѣлаете?

Грушенька должна была прислониться къ воротамъ, чтобы не упасть.

Въ этотъ вечеръ, лежа въ постели, она почему-то даже плакала. Почему, — не знала сама.

Цѣлый день она ходила сама не своя. Орѣхи такъ и лежали у нея въ карманѣ. Она почему-то боялась ихъ ѣсть. А когда стало смеркаться и Олимпіада Ивановна сказала: «Грушенька, ты бы пошла погулять у воротъ!» Грушенька чуть ни вскрикнула отъ испуга, задрожала вся, рѣшила ни за что не ходить—и пошла.

Въ воскресенье Грушенька гуляла по тупичку. Такія большія прогулки она дѣлала только по праздникамъ. Время было послѣобѣденное, и всѣ жильцы тупичка, пользуясь праздникомъ, послѣ обѣда спали. У забора Соловьевскаго дома она встрѣтилась съ молодымъ Соловьевымъ.

— Здравствуйте, Грушенька!

— Здравствуйте, Василій Николаичъ?

Она всѣхъ въ тупичкѣ знала по имени и отчеству.

— Гулять изволите?

— Домой пора.

Успѣете еще домой-съ. Желаете къ намъ въ садъ? Хотите посмотрѣть, какъ яблоки цвѣтутъ?—вдругъ предложилъ онъ.

Грушенька испугалась, какъ никогда еще не пугалась.

— Что вы? Нешто возможно? Какое выдумали...

Но «молодой Соловьевъ» заступилъ ей дорогу:

— И очень даже возможно-съ. Тятенька, маменька спятъ. Приказчики со двора отпущены. Мальчишки во дворѣ въ бабки играютъ. Посмотрите, какъ яблони у насъ въ саду цвѣтутъ-съ! А?

Грушенька молчала.

«Ахъ, что я дѣлаю! Ахъ, что я дѣлаю! — въ ужасѣ шептала она въ душѣ.—Домой бѣчь надо! Домой бѣчь!

— Вы тутъ обождите, у этой калитки, а я живымъ манеромъ сбѣгаю, изнутри отопру! Сейчасъ-съ.

— Ахъ, что вы! Что вы! Ни за что! Ни за что!

Однакоже, осталась, ни жива ни мертва, у калитки. И когда «молодой Соловьевъ» отворилъ изнутри калитку, Грушенька воскликнула: «Ни за что! Ни за что!» и вошла въ садъ.

— Пожалте! Смотрите! Каковъ у насъ садъ? Большой Соловьевскій садъ былъ полонъ зелени. Среди акацій шли дорожки. Всѣ въ цвѣту стояли четыре яблони.

Грушенька всплеснула руками:

— Чисто въ снѣгу!

— Цвѣтутъ-съ!

И, поднявъ съ земли упавшій бѣлый лепесточекъ съ нѣжными розовыми жилками, молодой Соловьевъ поднесъ его Грушенькѣ:

— Пожалте-съ! Каковъ цвѣтъ?

— Ахъ, что вы дѣлаете? Нешто возможно?

— Упалъ-съ! Ничего не значитъ. Съ земли-съ. Съ яблони нельзя-съ, потому изъ кажнаго цвѣтка яблоко будетъ,—а съ земли ничего, можно-съ!

Грушенька снова всплеснула руками:

— Неужели изъ каждаго цвѣтка — яблоко?

— Обвязательно!

Она смотрѣла на яблони, какъ на чудо.

Грушенька въ первый разъ видѣла садъ, у нея кружилась голова.

— Изволите видѣть, какая клумба. Тутъ все цвѣты будутъ. А по зеленому бордюру будутъ маргаритки. Вонъ ужъ одна расцвѣтаетъ. Вонъ! Вонъ! Смотрите!

— Чисто звѣздочка!

Грушенька только всплескивала руками.

— Какъ въ раю!

— Да вы ничего, идите, не бойтесь! Здѣсь дорожка! По травѣ нельзя ходить, а по дорожкѣ ничего, можно.

Грушенькѣ казалось, что она не касается земли, что она плыветъ въ воздухѣ.

— А вотъ и качели для удовольствія! Желаете покачаться?

Она только замахала руками:

— Что вы! Что вы!

Испугу ея не было предѣла.

— Ничего! Мы потихоньку! Никто не услышитъ!

И Грушенька не опомнилась, какъ «молодой Соловьевъ» подсадилъ ее на качели, и она уже стояла и, вся дрожа, крѣпко держалась за веревки.

«Ахъ, какая я отчаянная!» съ ужасомъ думала Грушенька, и ей было и страшно, и жутко, и весело.

Голова пошла кругомъ, когда она поплыла вдругъ по воздуху, — и все: деревья, яблони въ цвѣту, вдругъ покачнулись.

Грушенька, какъ сквозь сонъ, слышала:

— Вы за веревки держитесь! За веревки крѣпче! А я наподдавать буду! А вы только присѣ-

дайте! Теперь присѣдайте! Да не теперь! Вотъ теперь! Да вы въ первый разъ качаетесь?

— Въ первый!—хотѣла отвѣтить Грушенька, но голосъ у нея перехватило, отъ вѣтра свистѣло въ ушахъ, сердце замирало.

— Ой, перестаньте! — вскрикнула она. — Ой, перестаньте! Мнѣ нехорошо!

— Тише вы! Услышатъ! — испуганно вскрикнулъ молодой Соловьевъ, осадилъ качели и помогъ ей слѣзть.

— Ну, чего кричите?

Грушенькѣ хотѣлось плакать. Она чувствовала себя виноватой. Она не смѣла взглянуть на молодого Соловьева. И ей было жаль, страшно жаль, что она прервала такое необыкновенное удовольствіе.

Испуганный «молодой Соловьевъ», подталкивая ее въ спину, чтобы показать, куда итти, проводилъ ее до калитки, и когда она хотѣла отворить, прошепталъ:

— Куды? Куды? Сперва посмотрю, нѣтъ ли кого?

Она за что-то кляла и проклинала себя и глотала слезы.

И когда очутилась въ тупичкѣ, за калиткой одна, — Грушенькѣ показалось, что ее выгнали изъ рая.

Садъ, цвѣтущія яблони, словно всѣ въ розоватомъ, нѣжномъ снѣгу, снились ей цѣлую ночь. Ей снилось, что она качается на качеляхъ, плаваетъ по воздуху съ молодымъ Соловьевымъ, который то улыбается ей, то кричитъ на нее страшно-страшно. И, чувствуя, что земля уходитъ изъ-подъ ногъ, Грушенька съ крикомъ просыпалась вся въ слезахъ и съ ужасомъ, съ горемъ говорила себѣ:

— Больше я никогда, никогда не увижу сада! Дура я! Дура я! Никогда не увижу!

Но на слѣдующій день, въ сумеркахъ, молодой Соловьевъ подошелъ къ ней у воротъ, улыбающійся, какъ всегда, и, какъ всегда, предложилъ ей даже орѣшковъ.

— А хорошо у насъ въ саду?

— Ахъ, какъ хорошо!—воскликнула Грушенька такъ радостно, какъ никогда еще не говорила.

Онъ не сердится. Она ушла къ себѣ въ подвалъ счастливая.

Однажды въ сумеркахъ «молодой Соловьевъ» сказалъ Грушенькѣ:

— А вы слышали, къ намъ въ садъ соловей прилетѣлъ и поетъ!

Это было событіе въ тупичкѣ.

— Къ Соловьевымъ соловей прилетѣлъ!—говорилъ весь тупичокъ и вечера четыре соби-

рался у забора Соловьевскаго сада, ожидая, когда запоетъ соловей, и цыкая на ребятишекъ:

— Тсс! Тише вы, окаянные!

И когда онъ начиналъ пѣть, слушали съ затаеннымъ дыханіемъ и говорили:

— Ахъ, какъ заливается! Ахъ, какъ хорошо!

«Самъ Соловьевъ» приказывалъ даже калитку отворять, «чтобъ было слышнѣе».

Ходила слушать соловья подъ заборъ и Грушенька, даже ходила слушать и Олимпіада Ивановна, и она даже сказала:

— Чудо, какъ хорошо!

И улыбалась и качала головой, когда пришла домой:

— Чудо, какъ хорошо! Жалко, что Володечка баиньки легъ, — и его бы сводить. Такое пѣніе! Такое пѣніе! Никогда не услышишь!

— Какъ же не слыхать! Ходили съ маменькой къ забору! Слышали! — отвѣчала молодому Соловьеву Грушенька.

Молодой Соловьевъ только фукнулъ:

— Что къ забору! Нешто у забора такъ слыхать? Не разберешь даже, на какомъ деревѣ поетъ! Нѣтъ, подъ самымъ тѣмъ деревомъ послушать! Вотъ штука! Хотите нынче вечеромъ?

И не успѣла Грушенька опомниться, какъ онъ ужъ шепталъ ей:

— Нынче вечеромъ, какъ всѣ лягутъ, я потихоньку и выйду. Выходите и вы. У калитки меня и дожидайте. И послушаемъ! И послушаемъ!

— Ни за что! Ни за что! — съ ужасомъ воскликнула Грушенька.

— Только послушаемъ! Только послушаемъ!

— Да ни за что! Ни за что!

Ей хотѣлось плакать. Она весь вечеръ твердила себѣ:

— Да ни за что! Ни за что!

И, какъ только мать заснула, тихонько встала и пошла. И все твердила себѣ:

— Да ни за что! Ни за что!

Но она не шла. Ноги сами ее несли. А онъ ее ждалъ ужъ у калитки:

— Входите! Входите! Скорѣича, что ли!

Въ саду было темно и влажно и пахло чѣмъ-то такъ хорошо.

— Сюды! Сюды!

Грушенька дрожала вся и отстранялась, чувствуя, какъ его рука касается ея таліи.

А онъ шепталъ:

— Да не сюды! Куды вы? На траву?! Траву помнете! По дорожкѣ! Сюды. Вотъ здѣсь, на скамеечкѣ. Садитесь.

Они сидѣли и молчали. Все страшнѣе и страшнѣе дѣлалось Грушенькѣ въ темнотѣ сада, и

вдругъ огненныя искры кругами, кругами пошли у нея въ глазахъ.

Она вздрогнула. За сосѣднимъ кустомъ кто-то чокнулъ.

— Чисто нечистая сила! — пронеслось въ головѣ у Грушеньки.

Еще разъ чокнулъ, еще, и раскатился звонкой трелью и замолчалъ. И снова зачокалъ, засвисталъ, словно заплакалъ, зарыдалъ и раскатился вдругъ хохотомъ, застоналъ и замеръ...

Грушенька почувствовала что-то горячее и щекочущее на щекѣ и заплакала:

— Не надо! Не надо! Ради Бога не надо!..

Въ этотъ вечеръ она вернулась домой «несчастной на всю жизнь», всю ночь не могла сомкнуть глазъ и плакала и рыдала, уткнувшись въ подушку. Даже Олимпіада Ивановна проснулась:

— Грушенька, что съ тобой? Ты какъ будто плачешь?

Грушенька разрыдалась еще сильнѣе.

— О чемъ ты, дитя мое? О чемъ, моя дѣвочка?

— Папеньку нынче очень сильно избили!

— Его теперь каждый день бьютъ! — отвѣчала Олимпіада Ивановна и заплакала сама.

Такъ горько плакали въ эту ночь въ подвалѣ. А соловей пѣлъ,—пѣлъ радостно, весело, и

въ подвалѣ было слышно, какъ онъ пѣлъ. Или только Грушенькѣ казалось, что слышно, и она боялась спросить у матери:

— Мама, ты тоже слышишь, какъ поетъ соловей?

Эта любовь была тихая и грустная. Такъ маленькіе цвѣтки вырастаютъ подъ заборомъ, грустно глядятъ день-два на свѣтъ Божій и умираютъ, засыпанные пылью и мусоромъ.

Романъ длился недѣли двѣ.

Не прошло недѣли, какъ старшій приказчикъ, проходя мимо Грушеньки, непремѣнно улыбался и пѣлъ:

Грушенька гуляла
Въ зеленомъ саду-ду-ду.

И ржалъ.

Молодой Соловьевъ не вытерпѣлъ и разсказалъ старшему приказчику.

Тотъ почему-то пришелъ въ восторгъ:

— Здорово! Молодчага! Люблю такія дѣла! Теперь надоть ей пройтить не давать!

И онъ принялся во весь голосъ орать, проходя мимо Спесивцева дома:

Грушенька гуляла
Въ зеленомъ саду-ду-ду.

Она въ первый же вечеръ кинулась къ молодому Соловьеву:

— Зачѣмъ вы сказали?

Она ему говорила не иначе, какъ «вы», — онъ ее звалъ на «ты».

Молодой Соловьевъ отвѣчалъ только:

— Велика важность! Приходи сегодня къ калиткѣ!

Она плакала, кляла себя—и шла.

А тупичокъ обратилъ вниманіе на новую пѣсню, которую оралъ старшій Соловьевскій приказчикъ, тупичокъ сталъ присматриваться,— тупичокъ вдругъ пришелъ въ необыкновенный испугъ.

— Слышали?

— Своими глазами видѣла!

— Сама, подлая, къ калиткѣ подошла! Чисто воровка! Такъ и прячется.

— Надо самой Соловьевой сказать!

— Долго ли мальчику избаловаться!

Пересудамъ не было конца:

— Нѣтъ, Олимпіада Ивановна! Олимпіада Ивановна чего смотритъ!

— Чего смотритъ! Сама, небось, подсылаетъ!

— А мы-то ей давали работу. Мы-то ее жалѣли!

— Чего тамъ жалѣть! Такова ужъ семейка!

Тупичокъ рѣшилъ:

— Предупредить мать!

— Долгъ кажнаго!

И въ ближайшее же воскресенье двѣ наиболѣе почтенныя жилицы тупичка подошли послѣ обѣдни къ «самой» Соловьевой и сказали:

— Вы намъ извините, конечно, наше дѣло постороннее... Но мы, какъ сосѣди... Столько лѣтъ живемъ рядомъ... Весь тупичокъ васъ жалѣетъ...

«Сама Соловьева» женщина полная и «сырая», поблѣднѣла, затряслась всѣмъ тѣломъ:

— Что? Что такое? Батюшки! Ужели поджечь хотятъ?

— Не поджечь, а въ домѣ у васъ не ладно! Молодчика вашего Олимпіадина Ивановны дочка съ пути сбиваетъ!

Весь тупичокъ, бывшій въ это воскресенье въ церкви, съ глубокимъ нравственнымъ удовлетворенїемъ видѣлъ, какъ «сама Соловьева» тутъ же, на паперти, расплакалась.

«Сама Соловьева» сказала «самому Соловьеву», а «самъ Соловьевъ» принялъ мѣры.

— Поучилъ, говорятъ, малаго! — многозначительно и конфиденцїальнo сообщалъ тупичокъ другъ другу и вполнѣ одобрялъ. — И нельзя не поучить! Человѣкъ молодой! Долго ли избаловаться? Надо!

Одно смущало тупичокъ:

— Ужели жъ сквернавкѣ такъ пройдетъ?

Самое такое предположенïе оскорбляло чувство справедливости и нравственности,—и тупичокъ уповалъ:

— «Сама Соловьева» этого такъ не оставитъ!

«Сама Соловьева» цѣлый день проплакала, а подъ вечеръ, когда Грушенька вышла постоять у воротъ,—отправилась, остановилась противъ подвальнаго окна, въ которомъ работала Олимпïада Ивановна, и подперла руки въ боки.

Весь тупичокъ ждалъ этого и моментально сбѣжался посмотрѣть, какъ «сама Соловьева» будетъ срамить.

— И не стыдно вамъ, Олимпïада Ивановна?—«завела» сама Соловьева. — И не стыдно вамъ, спрашиваю? Не стыдно дочь на такïя штуки подучать?

Олимпïада Ивановна, по обычаю проработавшая цѣлый день, не была «въ курсѣ дѣла» и не подозрѣвала о движенïи въ тупичкѣ.

Услыхавъ свое имя, она вздрогнула, взглянула въ окно, увидѣла толпу, испугалась, поблѣднѣла, руки и ноги у нея отнялись.

— Мужъ у васъ пьяница, негодяй! Сынъ у васъ жуликъ! Другой сынъ у васъ коростовый, не нынче—завтра сдохнетъ! Такъ вы и дочь на

такія штуки подучатъ?! А?! Что, матушка, стоишь у воротъ? Прохожихъ зазываешь? Да?— перевела «сама Соловьева» свою рѣчь на Грушеньку, блѣдную, какъ смерть. — Молодчиковъ запутываешь? Вотъ вы чѣмъ съ маменькой своей занимаетесь? Вотъ вы чѣмъ?

Олимпіада Ивановна подкашивающимися ногами выбѣжала изъ подвала.

Она видѣла толпу, негодующую, съ сочувствіемъ слушавшую «самое Соловьеву».

— Вѣрно! Такъ и слѣдуетъ!

— И въ своемъ правѣ!

— Потому мать!

Олимпіада Ивановна, задыхаясь, спросила:

— Ради Господа Бога! Господи, Господи! Что такое?

— Ахъ, что такое!!!—насмѣшливо захохотала «сама Соловьева», и ее поддержала толпа.— Теперь что такое! Окрутили молодца, сбили молодого человѣка съ пути истиннаго, — да теперь что такое? Ты у дочери у своей спрашивай, безстыжія твои бѣльмы, что такое! У дочери спрашивай!—визжала «сама Соловьева».— Шаталась, шаталась со всѣми, да моего сына сквернавитъ! Да я полицію позову! Я полиціи докажу, какая такая есть твоя дочь, негодяйка ты этакая! И на что ты ее подусъкиваешь?

А? Каково, люди добрые? Какія дѣла творятся?! Увидали, что мальчикъ глупъ, — такъ рѣшили его къ рукамъ прибрать! Можетъ, думали, что въ отцовскую выручку полѣзетъ? Въ выручку? Дочь ему подсунули, жулики, пьяницы, коростовые, нищіе! Дочь свою весноватую! Такъ нѣтъ же! Полиція есть! Судъ есть! Полицію сюда! Въ полицію ихъ! Я не допущу! Я мать! Я не позволю, чтобъ всякія воровки къ намъ въ садъ по ночамъ лазили! Не допущу! Полицію! Пускай до протокола дойдетъ! Полицію!..

«Сама Соловьева» кричала, какъ въ истерикѣ.

Олимпіада Ивановна чувствовала только, что у нея волосы на головѣ шевелятся. Блѣдная, какъ смерть, она повернулась къ такой же блѣдной, какъ смерть, Грушенькѣ:

— Что жъ ты, подлая, молчишь?.. Слышишь, какъ мать ругаютъ, а ты молчишь?.. Что жъ ты молчишь?.. А?.. Правда это или нѣтъ? Сейчасъ отвѣчай, правда это или нѣтъ?

Грушенька стояла, шатаясь.

— А-а!

Олимпіада Ивановна закричала нечеловѣческимъ голосомъ, размахнулась и дала Грушенькѣ пощечину. Та едва устояла на ногахъ. Платокъ слетѣлъ у нея съ головы. Видъ простоволосой Грушеньки словно окончательно озвѣрилъ Олим-

пїаду Ивановну. Съ воплемъ, съ крикомъ, съ воемъ кинулась она на Грушеньку. Пощечины посыпались градомъ.

— Теперь поздно бить! — кричала «сама Соловьева». — Раньше бы била! Раньше бы бить нужно!

Грушенька упала на землю. Олимпїада Ивановна била ее кулаками по чемъ ни попадя, топтала ногами.

— Ништо ей! Такъ и нужно! Не портъ мальчика! Не портъ мальчика! — говорила толпа.

Долго длилось это.

Истерическїе вопли оглашали тупичокъ.

— И впрямь за полицїей послать надо,—говорили болѣе солидные жильцы,—въ тупичкѣ и такое безобразїе. Ну, семейка! Чортъ бы ихъ ралъ совсѣмъ! То отецъ оралъ на весь проулокъ, теперь и мать орать принялась!

Наконецъ «самое Соловьеву» въ истерикѣ утащили домой. Олимпїаду Ивановну и Грушеньку, обѣихъ безъ чувствъ, отнесли въ подвалъ.

Тупичокъ еще потолковалъ, пожалѣлъ «самое Соловьеву» и разошелся.

Въ эту ночь Грушенька ушла изъ дома и больше не пришла.

Черезъ недѣлю одинъ изъ Соловьевскихъ приказчиковъ принесъ извѣстїе:

— Грушка-то гулящая, знаете, гдѣ?

— Ну?

— А на Спасской въ трактерѣ сидитъ. Когда въ трактерѣ, когда въ полпивной дежуритъ!

Тупичокъ не былъ удивленъ:

— Этого и нужно было ждать!

Только при встрѣчѣ съ «самой Соловьевой» останавливались и качали головами.

— А! Какая мерзавка, чуть было вашего сына не захороводила!

«Сама Соловьева» только смахивала слезы:

— Ужъ и не говорите! Какого срама я изъ-за этихъ подлыхъ людей натерпѣлась! Такого срама! Вдругъ мой сынъ,—и съ этакой! Спасибо, люди добрые указали!

— Какъ не указать! Сами отцы! Ужъ тварь эту видать было, что она такое. Ужъ даромъ дѣвушка у воротъ стоять не будетъ! Нешто порядочная дѣвушка у воротъ стоять станетъ!

Олимпіадѣ Ивановнѣ при заказахъ, кромѣ нотацій по поводу мужа-пьяницы, сына-жулика и мальчика, который такимъ же жуликомъ выйдетъ, прибавилась еще нотація по поводу дочери, «послѣдней изъ послѣднихъ».

— Ужъ если васъ, матушка, и послѣ такого скандала изъ тупичка не выгнали,— вы должны

чувствовать, какая къ вамъ жалость! Ежели при этакой дочери васъ терпятъ...

— Да вѣдь *она* ко мнѣ не ходитъ, — глотая слезы, говоритъ Олимпіада Ивановна.

— Все равно! Какая же вы мать? Что вы за мать послѣ этого? А мы вамъ бѣлье даемъ шить.

Это было въ Страстной четвергъ.

Тупичокъ возвращался ото всенощной, — а дома его ждало происшествіе.

Противъ овощной лавочки стояли полицейскіе, толпа любопытныхъ.

— Что такое? Что случилось?

— «Чудовской» Богу душу отдалъ!

Въ Страстной четвергъ и лавочникъ прекратилъ торговлю водкой, по крайней мѣрѣ, въ лавкѣ:

— На домъ, извольте, отпущу. А въ лавкѣ нельзя пить. Не такіе теперь дни.

Да и Власовъ рѣшилъ:

— Не такіе теперь дни, чтобы въ лавкѣ сидѣть!

И пилъ дома.

«Чудовской» съ утра безъ похмелья тосковалъ около лавки. Напрасно онъ молилъ лавочника:

— Дозвольте провозгласить!

Лавочникъ степенно и солидно молчалъ или отвѣчалъ:

— Ты бы лобъ пошелъ перекрестить! А ты въ такіе дни на улицѣ орать собираешься!

Такъ прошелъ весь день.

Лавочникъ съ разодѣвшейся лавочницей ушли ко всенощной. Лавочный мальчишка остался одинъ, и ему захотѣлось самому сыграть «штуку».

— Чортушка! Хочешь поднесу?—спросилъ онъ у сидѣвшаго въ полузабытьѣ, на холоду, на стужѣ, у дверей лавки «Чудовского».

«Чудовской» задрожалъ, оживился.

— Врешь, не поднесешь!

— Говорятъ, поднесу! Не вѣришь!

— Ой, лукавишь, чертенокъ! Не поднесешь!

— Ну, на! Вишь, налилъ! Ѳома невѣрный!

Онъ пошелъ, налилъ въ чашку воды и показалъ:

— Хошь?

— Ахъ, поднеси! Дай, дай, дай!..

«Чудовского» хватила дрожь. Онъ весь колотился.

— Поклонись три раза въ землю,—далъ!

«Чудовской» быстро поклонился три раза въ землю.

— Нѣтъ, ты что такъ! Ты съ разстановкой!

У «Чудовского» начинались почти корчи.

Онъ поклонился три раза «съ разстановкой».

— Д...д...дай же!..

Лавочный мальчишка подалъ ему чашку съ водой и съ удовольствіемъ смотрѣлъ, какъ «Чудовской» на этотъ разъ быстро опрокинулъ ее въ ротъ.

Онъ готовился наслаждаться обычнымъ «приставленіемъ», какъ случилось что-то необыкновенное.

«Чудовской» словно захлебнулся водой. Послышалось какое-то клокотанье. Онъ замахалъ руками, упалъ на землю. Синее лицо перекосило, у губъ забилась пѣна.

Лавочный мальчишка, начавшій было хохотать надъ курбетами, сразу смолкъ и замеръ.

«Чудовской» дрыгнулъ ногой разъ, два — и растянулся неподвижно, съ синимъ лицомъ, съ вытаращенными, стеклянными глазами.

Лавочный мальчишка испугался, заплакалъ и сталъ кричать:

— Караулъ! Карау-у-улъ!

Сбѣжались люди, послали за полиціей.

Дома у «Чудовского» никого не было. Подвалъ былъ запертъ. Олимпіада Ивановна ушла навѣщать дочь въ больницу и взяла съ собой «Головастика».

Тупичокъ медленно, степенно шелъ отъ всенощной, неся зажженныя свѣчи, которыя старались горящими донести до дома. Это было похоже на шествіе.

Впереди шли Соловьевы: мальчики попарно, за ними, попарно же, приказчики, за приказчиками молодой Соловьевъ съ молодой женой, дочерью сосѣда-домовладѣльца Ушакова, за молодыми самъ Соловьевъ съ самой Соловьевой. За Соловьевыми шелъ лавочникъ Панкратовъ съ разодѣтой лавочницей. За ними шелъ сумрачный Власовъ съ женою, одѣтой въ страшно шумѣвшее широкое зеленое шелковое платье.

И все это останавливалось около трупа, стояло толпой и разсуждало степенно, солидно и со вздохами:

— Безъ покаянія и померъ!

— Жилъ, какъ нелюдь, — и померъ, какъ нелюдь!..

— Жилъ на улицѣ и померъ на улицѣ!

Въ это время раздались крики, всхлипыванія, и, расталкивая толпу, къ трупу кинулась Олимпіада Ивановна.

Ее еще встрѣтили на углу тупичка:

— Идите, тамъ вашъ мужъ померъ!

Олимпіада Ивановна бросила даже Володю, пустилась бѣгомъ, кинулась къ трупу, лежавшему

на мостовой, и, къ изумленію, даже къ оскорбленію всего тупичка, принялась цѣловать его грязныя руки и синее лицо.

— Бѣдный ты мой! Милый ты мой! Петя мой! Несчастный ты мой!..

Тупичокъ былъ прямо скандализированъ.

— Вотъ дура-то!

— Значитъ, сама его стоила!

— Радоваться бы должна, Бога молить, что прибралъ! Еще однимъ на шеѣ меньше!

— Скажите, какія штуки строитъ!—воскликнула лавочница. — Какія комедіи на улицѣ ломаетъ.

И тутъ въ первый разъ въ жизни огрызнулась Олимпіада Ивановна.

Она поднялась отъ трупа и, вся дрожа, сказала «волкомъ, прямо волкомъ», — какъ разсказывали въ тупичкѣ,—глядя на всѣхъ:

— Какъ будто намъ ужъ и плакать-то другъ о другѣ нельзя!

И она зарыдала и снова принялась цѣловать трупъ.

— Плачь, ежели нравится!—усмѣхнулся кто-то, но его остановили строгими взглядами:

— Не такіе дни, чтобъ пересмѣиваться!

Тупичокъ медленно и солидно расходился по домамъ.

На Дальнемъ Востокѣ.

Повѣсть.

I.

— Не умѣлъ, мой другъ, житъ въ Петербургѣ,—отправляйся строитъ Сибирскую дорогу!— сказала Василiю Петровичу его тетка, дама важная, влiятельная и съ большими связями.

Такъ, вслѣдствiе дурного поведенiя, Василiй Петровичъ сдѣлался благодѣтелемъ своего отечества.

Родные заплатили его долги, квартирная обстановка продана съ аукцiона, — товарищи устроили Василiю Петровичу грандiозную «отвальную»,—и какъ, собственно, онъ доѣхалъ до Одессы, — Василiй Петровичъ рѣшительно не помнитъ.

Объ Одессѣ сохранилось какое-то смутное воспоминанiе.

Ресторанъ «Сѣверной гостиницы» — лучшій въ городѣ. Отдѣльный кабинетъ. Компанія. Танцовщицы изъ итальянской оперы. Визгъ, крики.

Василій Петровичъ говоритъ какому-то мѣстному милліонеру-греку:

— Стрѣлятся, сейчасъ въ морду, или становись на колѣни, цѣлуй руку и проси прощенья.

А грекъ, блѣдный, какъ смертъ, лепечетъ:

— Позвольте, лучше я двадцать пять рублей пожертвую въ пользу бѣдныхъ!

Чернаго моря Василій Петровичъ тоже не припомнитъ.

Константинополя онъ не видалъ.

Когда проходили Босфоръ, онъ спалъ, и капитанъ приказалъ:

— Тсъ! Не будить! Чортъ съ нимъ! Пускай дрыхнетъ.

Дальше опять смутное воспоминаніе.

Человѣкъ говоритъ ему:

— Дарданеллы-съ!

А Василій Петровичъ кричитъ на него:

— Коньяку!

Когда Василій Петровичъ очнулся, пароходъ стоялъ на якорѣ.

На палубѣ шла бѣготня.

Гдѣ-то около кричали. Не то стонали, не то пѣли.

Василій Петровичъ вышелъ на палубу.

Все было залито яркимъ, горячимъ солнечнымъ свѣтомъ.

На берегу пальмы покачивали своими огромными листьями.

Городъ необыкновенно пестрый. Оригинальные дома, словно кружевомъ убранные рѣзными рѣшетками балконовъ.

На пристани орала, кричала, вопила толпа въ длинныхъ бѣлыхъ, словно женскихъ, рубахахъ и малиновыхъ фескахъ.

На баржѣ у парохода полуголые люди въ чалмахъ изъ грязныхъ тряпокъ грузили уголь, покрытые черною пылью, сверкая зубами и бѣлками глазъ. И не то пѣли, не то кряхтѣли и стонали отъ непосильной работы.

Дымилась масса пароходныхъ трубъ.

А дальше, за яркимъ, пестрымъ городомъ, убраннымъ кружевомъ узорныхъ балконовъ, тянулись безконечные золотые, блещущіе на солнцѣ, пески пустыни.

Василій Петровичъ спросилъ:

— Это что?

— Портъ-Саидъ!

Воздухъ словно мягкимъ, теплымъ бархатомъ касался лица. Краски горѣли на солнцѣ.

Василій Петровичъ почувствовалъ себя бодрымъ, веселымъ, счастливымъ,—какъ никогда.

Чужая жизнь, шумная, кипучая, жизнь маленькаго оригинальнаго международнаго городка, похожая на жизнь огромнаго муравейника, заинтересовала Василія Петровича, и когда онъ къ вечеру вернулся изъ города на пароходъ, пассажиры, всѣ свои надежды возлагавшіе на то, что «скандалистъ-пьяница упьется, опоздаетъ и останется», были изумлены.

Василій Петровичъ былъ совершенно трезвъ.

Капитанъ ходилъ около него съ опаскою.

— Тропики близко!

— Ну, такъ что же? — весело спросилъ его Василій Петровичъ.

Капитанъ вздохнулъ и посмотрѣлъ на него искоса:

— Питъ брошу. Въ тропикахъ, знаете, всегда надо питъ бросать!

Василій Петровичъ очень весело разсмѣялся:

— И я, батенька, брошу!

Капитанъ просіялъ:

— Было выпито-съ?

— Было!

— Хе-хе-хъ-съ!

— Хе-хе-хе!

— И здорово хвачено-съ?

— Здорово. Скажите, капитанъ, какъ я тутъ съ пассажирами? Въ какихъ отношенїяхъ?

Капитанъ замялся.

— Ругать—всѣхъ ругали. Только они на это обижаться не будутъ. Вы ужъ напредки-то только!

— Какъ всѣхъ? И дамъ?

— Дамамъ-то не особенно. Но все-таки доставалось. Хе-хе!.. И дамъ вниманїемъ не обходили. Нѣтъ-съ. Слова говорили. Но только это онѣ, не извольте безпокоиться, помнить не будутъ. Дѣло дорожное! Главное, Василїй Петровичъ, чтобъ впередъ-то не было!

— Не безпокойтесь.

На слѣдующее же утро, за завтракомъ, всѣ были поражены несказанно.

Василїй Петровичъ взялся за стоявшїй передъ нимъ графинъ водки съ бальзамомъ и... отставилъ его къ сторонѣ.

Сосѣдка Василїя Петровича, жена офицера, шедшая къ мужу въ Уссурїйскїй край и всегда отшатывавшаяся въ ужасѣ, когда Василїй Петровичъ протягивалъ руку къ графину, — такъ и окаменѣла съ открытымъ ртомъ и вытаращенными глазами.

А Василій Петровичъ улыбнулся и отставилъ отъ себя даже и рюмку.

За вторымъ блюдомъ офицерская жена передала ему горчицы, и даже съ улыбкой.

Всѣ диву дались: «пьяница-скандалистъ» оказался прежде всего воспитаннѣйшимъ, умнымъ, оченъ образованнымъ человѣкомъ.

Это былъ пріятнѣйшій собесѣдникъ на пароходѣ и интереснѣйшій спутникъ на берегу въ Коломбо, въ Сингапурѣ, въ Нагасаки.

Его полюбили всѣ, — на пароходѣ только и слышалось:

— Василій Петровичъ!.. Василій Петровичъ!..

— Обязательнѣйшій человѣкъ!

— Хорошее общество сказывается-съ! Высшій свѣтъ!

Раннимъ утромъ пароходъ входилъ въ Золотой Рогъ, — проливъ, ведущій во владивостокскую гавань.

Василій Петровичъ вышелъ на палубу.

Сѣрое, арестантскаго сукна, словно петербургское, небо.

Оно смотрѣло въ волны, и волны казались тяжелыми, свинцовыми, мутными, грозными.

Межъ высокихъ береговъ дулъ и свисталъ въ мачтахъ холодный, сиверкій вѣтеръ.

Голы и унылы были берега.

Пассажиры толпились у борта.

— Василій Петровичъ! Василій Петровичъ! Идите сюда! Идите скорѣе!

— Что такое?

— Китъ!

Изъ воды показывалось, выгнувъ спину, подпрыгивало и тяжело, неуклюже, безобразно шлепалось въ воду огромное, нескладное, безформенное чудище.

— Играетъ!—радовались пассажиры.

— Противно было смотрѣть!— разсказывалъ мнѣ потомъ Василій Петровичъ. — Меня, собственно говоря, какъ Іону, китъ и поглотилъ!

— Какъ такъ?

— А такъ. Какъ увидалъ я это противное сѣрое небо, эти холодныя сѣрыя волны, голые сѣрые берега, да еще эту безобразную глыбу, которая «играла»,—словно меня всего въ холодныя мокрыя простыни завернули. Холодъ до души почувствовалъ. Душа дрогнула. Показалось мнѣ, что гдѣ-то здѣсь близко ужъ полярный кругъ, а тамъ холодъ, вѣчная ночь, тьма безъ просвѣта. И такая тоска засосала сердце, такая тоска...

— Ну, ужъ это, знаете, немножко слишкомъ! Изъ-за кита...

— Что прикажете дѣлать? Русскій человѣкъ. Народъ впечатлительный и психологическій-съ по преимуществу. У насъ этой самой психологіи... На каждомъ шагу психологія. Въ Москвѣ разстегай съ налимьими печенками ѣстъ и думаетъ: «а вонъ въ Орловской губерніи и корки хлѣба нѣтъ». И мучается-съ! И разстегая безъ психологіи съѣстъ не можетъ, — и налимья печенка думой отравлена! Въ этомъ наше и отличіе отъ западныхъ европейцевъ. Европеецъ, несмотря на всю его культуру, претолстокожая, въ сущности, скотина! Въ Парижѣ живетъ милліонъ интеллигенціи. А думаетъ ли кто: «какъ-то живетъ наша французская деревня?» Да имъ бы и мысль-то такая показалась забавной! Европеецъ смотритъ на кита просто: «сколько изъ него можно бы жиру натопить?» А у насъ при видѣ кита сейчасъ мерещится Ледовитый океанъ, вѣчныя льдины, ночь безъ просвѣта. Сильная впечатлительность - съ. Такая организація.

На берегу раскинулся Владивостокъ. Жалкіе сѣрые домишки. Словно куча насѣкомыхъ расползлась по берегу.

Надъ портомъ съ жалобными криками носились чайки. По порту въ допотопныхъ лодчонкахъ съ такими же жалобными стонами сновали китайцы.

Словно сейчасъ и чаекъ и китайцевъ рѣзать будутъ.

Василій Петровичъ постоялъ-постоялъ на палубѣ, спустился къ себѣ въ каюту, позвонилъ и приказалъ явившемуся слугѣ:

— Коньяку и стаканъ!

— Какъ-съ? — оторопѣлъ слуга.

— Коньяку и стаканъ! Понялъ?

— Есть!

Черезъ два часа, когда пароходъ отдалъ якорь, въ каютъ-компанію вошелъ Василій Петровичъ съ блѣднымъ, какъ скатерть, лицомъ, съ красными глазами.

Остановился, осмотрѣлся и, шатаясь, подошелъ къ какому-то портовому служащему, сидѣвшему съ капитаномъ за столомъ.

— Поччему у тебя изъ носа уссы растутъ? А? Въ моррду хочешь?

Портовый служащій вскочилъ и развернулся. Василій Петровичъ развернулся...

Такъ онъ прибылъ во Владивостокъ.

«На мѣсто служенія».

II.

Познакомиться съ Василіемъ Петровичемъ мнѣ пришлось при обстоятельствахъ, не совсѣмъ обыкновенныхъ.

Я собирался уѣзжать изъ Одессы въ кругосвѣтное путешествіе.

Наканунѣ отъѣзда ко мнѣ явилась молодая дама, очень красивая, въ глубокомъ траурѣ, съ блѣднымъ, печальнымъ лицомъ.

— Простите, если отниму у васъ полчаса,— сказала она умоляющимъ тономъ:—я знаю, вамъ дорога каждая минута. Но меня привело къ вамъ горе...

— Сударыня, я завтра уѣзжаю, и не знаю, чѣмъ...

— Я нарочно пріѣхала въ Одессу. Я прочла въ газетахъ, что вы ѣдете на Сахалинъ. И послѣ долгой борьбы я явилась къ вамъ, какъ читательница. Вѣришь тому, кого читаешь... Вы будете во Владивостокѣ?

— Да.

— Я имѣю къ вамъ дѣло, отъ котораго зависитъ моя жизнь. Я не преувеличиваю: жизнь.

— Я васъ слушаю.

— Въ моей жизни есть горе. Со мной случилось большое-большое несчастіе.

— Я вижу, сударыня...

Она потупилась. Глаза ея стали полны слезъ.

Она тихо сказала:

— Это не то... Вы меня не такъ поняли... Это несчастïе—не мой трауръ...

Наступило молчанïе.

Она сидѣла смущенная, лицо было полно страданïя, большïя, тяжелыя слезинки капали изъ ея красивыхъ глазъ.

— Вы простите, что я такъ передъ вами... Мнѣ трудно начать... Я должна ввести васъ въ такïе закоулки моей души... Но послушайте! Вѣдь кабинетъ журналиста бываетъ часто кельей духовника? Вѣдь это, какъ кабинетъ врача, какъ кабинетъ адвоката,— сюда люди приходятъ со своими страданïями, и то, что говорится здѣсь, остается тайной? Тутъ можно говорить все? Не правда ли? Чтобъ вы могли помочь мнѣ, я должна разсказать вамъ все. Все, безъ утайки. Во Владивостокѣ живетъ самый дорогой для меня человѣкъ. Человѣкъ, который для меня въ жизни — все.

Она заплакала.

— Дайте мнѣ, пожалуйста, стаканъ воды и простите, что я плачу. Я не могу... Я знаю только, что онъ живъ. Если бы онъ... если бы онъ умеръ, его родныхъ извѣстили бы. Онъ

живъ. Я ему писала — и никакого отвѣта. Я не знаю, доходятъ ли къ нему мои письма, не хочетъ ли онъ мнѣ отвѣчать. Ничего! Его зовутъ...

И она разсказала мнѣ исторію Василія Петровича.

Молодой человѣкъ, воспитанникъ одного изъ привилегированныхъ учебныхъ заведеній, съ большимъ и знатнымъ родствомъ.

Наслѣдникъ большого состоянія, прокутившій его быстро и шумно. Кандидатъ на крупныя наслѣдства, жившій подъ нихъ въ кредитъ.

— Учитываю,—какъ онъ говорилъ,—у ростовщиковъ своихъ тетушекъ и бабушекъ!

Одинъ изъ тѣхъ, кто составляетъ шикарный и блестящій Петербургъ.

— Я не знаю, хорошъ онъ или дуренъ,—я его люблю. Мнѣ кажется, я думаю, я увѣрена, что онъ лучше тѣхъ, кто его осуждаетъ. Я знаю одно: онъ—слабый человѣкъ. Онъ—слабый русскій человѣкъ, какихъ тысячи среди талантливыхъ русскихъ людей. Я думаю, что въ хорошихъ рукахъ изъ него вышло бы нѣчто прекрасное. И, какъ всякой женщинѣ, мнѣ кажется, что эти хорошія руки — мои!

Она улыбнулась печальной улыбкой и съ недовѣріемъ посмотрѣла на свои маленькія, длин-

ныя аристократическія руки, затянутыя въ черныя перчатки.

— Онъ талантливъ, остроуменъ и, добрый по натурѣ, золъ на языкъ. Его слова боятся. У него много враговъ и дурная репутація. Достаточно, чтобъ имѣть большой успѣхъ! Мы, женщины, любимъ веселье, смѣхъ,— однѣхъ привлекаетъ имѣть остроумнаго любовника, съ которымъ не соскучишься. Простите, что я говорю такъ прямо. Другихъ интересовала и привлекала его испорченность. «Что это за чудовище?» Третьи, какъ я, хотѣли его спасти. Спасать, это—въ натурѣ нашей, женской. Это—инстинктъ нью-фаундленда вытаскивать все, что плаваетъ. Если нѣтъ подъ руками слѣпыхъ котятъ или щенятъ,—мы спасаемъ какой-нибудь погибающій молодой талантъ. Бѣдную семью изъ восьми душъ или виртуоза-скрипача, которому не разрѣшаютъ права жительства въ столицѣ. Но я, увѣряю васъ, не принадлежала ни къ одной изъ этихъ трехъ категорій. Я полюбила Васю... Василія Петровича такъ, просто, сразу, вдругъ,— словно я за тѣмъ только и рождена на свѣтъ, чтобъ его полюбить. Когда его представили мнѣ, я смотрѣла на него съ ужасомъ, — я вѣдь очень молода! — такова была его репутація. А черезъ нѣсколько дней знакомства мнѣ казалось

страннымъ: какъ это могло быть время, когда я не знала и не любила его? Мнѣ показалось, что подъ этой испорченностью, озлобленностью, какъ алмазы въ землѣ, таится столько мягкости, нѣжности и доброты. И это такъ! Это такъ! Я узнала его. Я знаю. Это такъ!

Щеки ея загорались румянцемъ. Глаза блестѣли.

— Онъ тоже полюбилъ меня. И вы знаете,— онъ началъ перемѣняться, онъ становился неузнаваемымъ. Но горе намъ! Перемѣна въ Васильѣ Петровичѣ не могла остаться незамѣченной,— и прежде всего для моего мужа. Мой мужъ узналъ о всемъ. Петербургъ — не Венеція. И мы живемъ не въ то время, когда наемные убійцы на перекресткѣ двухъ улицъ поджидали свою жертву, сжимая подъ чернымъ плащомъ рукоятку остро отточеннаго кинжала. Зачѣмъ? Вмѣсто кинжала есть клевета. Мой мужъ началъ распространять сплетни, самыя скверныя, гнусныя, отвратительныя про моего любовника. Эти сплетни, какъ вихрь, кружась въ свѣтѣ, часто доходили до меня. Я вѣрила тому, что выдумано у меня же въ домѣ. Между мной и Васей возникали ссоры. Это интересовало его, онъ снова начиналъ кутить, дѣлаться прежнимъ. Сплетни росли еще больше. Я однажды

сказала своему мужу: «Вы поступаете гнусно, выдумывая гадости о похожденіяхъ Василія Петровича!» Онъ отвѣтилъ мнѣ: «А что жъ, вы хотите, чтобъ разсказывали, что онъ живетъ съ моей женой?» Это кончилось катастрофой.

Несдержанный на языкъ, Василій Петровичъ сказалъ какое-то злое слово про одного господина.

Мужъ Надежды Викторовны,—какъ звали мою посѣтительницу, — пустилъ злую шутку въ оборотъ, раздувъ дѣло, и сынъ оскорбленнаго, блестящій гвардейскій офицеръ, вызвалъ оскорбителя отца на дуэль.

Противникъ Василія Петровича былъ раненъ легко, но шумъ получился грандіозный.

Все и вся было возмущено.

— Оскорбилъ отца, ранилъ сына! Такихъ людей нельзя терпѣть въ обществѣ!

Скандалъ постарались потушить.

— Недостаетъ только, чтобъ улица сплетничала про насъ!—рѣшилъ свѣтъ.

Всѣ родные Василія Петровича были поставлены въ ужасное положеніе.

Послѣ семейнаго совѣта тетка Василія Петровича поѣхала къ вліятельной особѣ.

— У васъ строится сибирская дорога!

Вліятельная особа только пожала плечами и разсмѣялась:

— Честное слово, сударыня, вовсе не для этого!

— Но вѣдь вы понимаете, что моему племяннику нельзя, нельзя здѣсь оставаться! Пусть ѣдетъ строитъ сибирскую дорогу. Пусть образумится!

— Да я васъ увѣряю, что этотъ край пріобрѣтенъ вовсе не для того, чтобъ образумливать молодыхъ людей, которые не умѣютъ вести себя въ обществѣ. Ну, скажите! Не проходитъ дня, чтобъ ко мнѣ не обращались съ просьбою: «устроитъ такого-то на сибирскую дорогу, — онъ скверно себя ведетъ». Еще надняхъ Миша Охлестышевъ...

— Вотъ, вотъ, я потому и пріѣхала, что Миша Охлестышевъ...

— Затѣялъ мальчишка жениться на какой-то кокоткѣ: «Ахъ, отправьте его на Дальній Востокъ. Пусть провѣтритъ дрянь изъ головы». Сударыня, да вѣдь изъ-за этого мы не можемъ и колоніальной политики вести. Поймите вы! Вѣдь въ колоніи нужно посылать то, что есть у насъ лучшаго. Вѣдь они должны нести туда лучшее, что есть въ нашей культурѣ. А мы, по протекціи, набиваемъ колоніи худшимъ, что у насъ есть, отбросами, людьми, которымъ мѣста нѣтъ среди насъ. Вѣдь посудите, что жъ они

будутъ дѣлать тамъ, на свободѣ, если здѣсь, среди культуры, среди всяческой законности, мы съ ними справиться не можемъ?! Не угодно ли?! Вчера еще просятъ меня: «Устройте Петю Лестукова на Дальній Востокъ! Онъ алкоголикъ!»

— Ахъ,—вздохнула тетка Василія Петровича,—я думаю, что и Вася тоже алкоголикъ!

Особа расхохоталась такъ весело, какъ не хохотала давно.

— Основаніе!

— У него такая масса долговъ!

— Основаніе еще болѣе сильное.

— Онъ здѣсь немыслимъ! Вамъ весь свѣтъ будетъ благодаренъ.

— Хорошо-съ, сударыня. Пустъ будетъ, какъ будетъ. Вашъ племянникъ будетъ назначенъ во Владивостокъ.

Вернувшись отъ особы, тетушка и сказала Василію Петровичу:

— Не умѣлъ, мой другъ, вести себя въ Петербургѣ,—строй за это сибирскую дорогу!

— Съ тѣхъ поръ,—продолжала Надежда Викторовна, — я не знаю о немъ ничего. Всѣ мои письма оставались безъ отвѣта. А между тѣмъ теперь все измѣнилось. Я — вдова. Мой мужъ умеръ. Заболѣлъ инфлюэнцей, явились осложненія, и онъ скончался. Послѣ этого несчастія...

Краска залила ея лицо при этомъ словѣ.

Она пожала плечами.

— Не будемъ лгать! То, что случилось, не несчастье для меня. Это счастье! Я свободна, я богата. Намъ ничто не можетъ помѣшать быть вмѣстѣ, быть счастливыми. Его тяготитъ здѣшній воздухъ, меня тяготитъ — мы можемъ уѣхать за границу навсегда! Мнѣ надо, чтобъ онъ зналъ объ этомъ, мнѣ нуженъ его отвѣтъ, и потому я рѣшилась просить васъ: узнайте о немъ, повидайте его, передайте ему изъ рукъ въ руки мое письмо...

Она остановилась.

— Вы, навѣрное, спрашиваете себя: почему же она не ѣдетъ сама, разъ теперь свободна?

— О Боже мой... Я отлично понимаю... вамъ неудобно... Свѣтъ...

— Не то. Не то. Это меня бы не удержало. Для меня ничего не существуетъ, кромѣ Васи. Я бы пошла... но... слушайте... Будемъ говорить откровенно... Я, конечно, много съ тѣхъ поръ интересовалась Дальнимъ Востокомъ. И то, что я узнала, наполняетъ меня ужасомъ. Больше, чѣмъ ужасомъ. Тамъ работаютъ иностранцы и русскіе. Иностранцы возвращаются оттуда добрыми, жизнерадостными, какъ послѣ хорошаго

труда. Русскïе не созданы на то, чтобъ жить вдали отъ родины. Русскïе спиваются тамъ...

Она закрыла лицо руками. Она вся дрожала не то отъ ужаса, не то отъ отвращенïя.

— Хуже! Отъ тоски, отъ скуки они хуже, чѣмъ спиваются. Они... Они сходятся съ кухарками, съ горничными, съ пропавшими женщинами. И живутъ вмѣстѣ, вмѣстѣ спиваются. Быть-можетъ, и мои письма не доходятъ до него, потому что какая-нибудь...

Она вскочила съ мѣста.

— Нѣтъ! Нѣтъ! Слушайте! На каторгу — я пошла бы за нимъ. Но отбивать моего Васю у кухарки, у спившейся пропащей женщины,—нѣтъ! Это хуже смерти! Вотъ почему я боюсь, не ѣду туда. Исполните мою просьбу, умоляю васъ! Вы увидите его,—передайте ему все, что я вамъ сказала; если надо, — вырвите его изъ омута, телеграфируйте мнѣ все, всю правду. Я брошу все и помчусь къ нему. Вы сдѣлаете это для меня? Сдѣлаете? Мнѣ не къ кому обратиться съ такой просьбой. Помните, что въ вашемъ отвѣтѣ для меня жизнь и смерть.

Пароходъ готовился отойти.

На пристани, среди провожавшихъ, я увидалъ даму въ глубокомъ траурѣ.

Она подошла къ краю пристани, бросила мнѣ цвѣтокъ и сказала, когда я нагибался, чтобъ его подхватить:

— Помните, что въ вашемъ отвѣтѣ...

А въ глазахъ ея я прочелъ.

— Моя жизнь и смерть!

III.

По скрипучей лѣстницѣ я поднимался въ мезонинъ къ Василію Петровичу.

Домишко, гдѣ онъ жилъ, стоялъ на одной изъ окраинныхъ улицъ, неимовѣрно грязной, невыразимо вонючей, какъ всѣ владивостокскія улицы.

Дощатая дверь, выкрашенная охрой, была заперта. Звонка не было.

Я постучался.

Отворилъ бѣлобрысый паренъ съ бѣлыми бровями, безцвѣтными глазами, съ пучками бѣлыхъ волосъ вмѣсто бороды, съ какимъ-то разъ и на всю жизнь испуганнымъ лицомъ.

— Василій Петровичъ дома?

— Такъ что они, ваше высокоблагородіе, дома!—почему-то оторопѣвъ и растерявшись, отвѣчалъ паренъ.—Только они, ваше высокоблаго-

родіе, никакъ вашего высокоблагородія принять не могутъ!

Говоря, онъ терялся, какъ-то отклонялся назадъ и смотрѣлъ на меня полнымъ боязни взглядомъ, словно ждалъ, что я вотъ-вотъ «развернусь» и «хлестну» его по физіономіи.

— Никакъ принять не могутъ, ваше высокоблагородіе!

По нескладной фигурѣ, по увалистой, «неразвязной» манерѣ держаться было видно, что парень никогда не былъ въ солдатахъ. Да солдатъ и не сталъ бы такъ безпрестанно повторять:

— Ваше высокоблагородіе.

Это было ужъ что-то «сверхъ-солдатское».

Потомъ я узналъ, что парень былъ съ Сахалина. Бывшій каторжникъ, осужденный за убійство, отбывшій каторгу, поселенчество и теперь служившій во Владивостокѣ въ лакеяхъ.

— Есть кто-нибудь у Василія Петровича?

— Такъ что никого нѣтъ, ваше высокоблагородіе.

— Да что жъ онъ, спитъ, что ли?

— Такъ точно, спятъ, ваше высокоблагородіе!—обрадованно воскликнулъ парень.

— Что жъ ты мнѣ сразу-то не сказалъ, дубина!

— Такъ что не посмѣлъ, ваше высокоблагородіе! — отвѣчалъ парень, улыбаясь виноватою улыбкой.

Улыбаясь слабо, словно боясь, что и за это его «треснутъ».

— Вотъ отдашь барину карточку. Скажешь, что завтра буду. Понялъ?

Онъ взялъ визитную карточку такъ осторожно, словно я подавалъ ему горячій уголь.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе!

И въ тонъ его послышалась радость:

«Слава, молъ, Богу, что визитъ кончился».

Парень рѣшительно усталъ отъ разговора.

По дорогѣ отъ Василія Петровича я встрѣтилъ одного владивостокскаго знакомаго.

— Что? Осматриваете достопримѣчательности нашего города?

Онъ разсмѣялся.

— Нѣтъ, надо было одного человѣка найти. Былъ, засталъ, да спитъ. А, можетъ, и просто пьянъ.

— Навѣрное, пьянъ! — спокойно подтвердилъ мой знакомый. — Не иначе, какъ пьянъ. Кто такой?

Я назвалъ фамилію Василія Петровича.

— Не слыхалъ такого. Навѣрное, пьетъ съ утра до ночи. Отъ этого нигдѣ и не показы-

вается. А то бы я слышалъ. Вы его хорошо знаете?

— Въ томъ-то и дѣло, что долженъ про него узнать. У меня есть порученіе.

— Узнать? Гмъ... Если вашъ знакомый пьяница, такъ это вамъ нужно въ «Золотой Рогъ» вечеромъ пойти. Гостиница. Знаете? Тамъ всѣ наши ланцепупы собираются.

Этимъ страннымъ именемъ во Владивостокѣ зовутъ горчайшихъ пьяницъ. Былъ когда-то даже «клубъ ланцепуповъ».

— Тамъ ихъ всѣхъ увидите. Они всѣхъ своихъ знаютъ. Тамъ все узнаете. До пріятнаго свиданія-съ! Такъ вечеромъ въ «Золотой Рогъ-съ» Всѣхъ увидите, все узнаете. Кстати, если захотите, тамъ и напиться можно!

Вечеромъ я входилъ въ ресторанъ гостиницы «Золотой Рогъ».

Небольшая комната. Грязно, вонюче.

Обыкновенный скверный трактиръ захолустнаго городишки.

Душно было адски. Дымъ стоялъ, какъ густой туманъ. Въ дыму трудно было разобрать лица. Всѣ столики заняты. Крики, пьяные голоса, руганъ.

Можно было себя вообразить въ Лебедяни или въ Ельцѣ въ ярмарочное время, если бы

не обыкновенныя закуски, разложенныя на буфетѣ.

Колоссальныхъ размѣровъ устрицы, на которыя и смотрѣть-то было противно: словно мертвыя, мокрыя лягушки лежатъ въ большихъ грязныхъ раковинахъ. Гигантскихъ размѣровъ варены красныя клешни отъ огромнѣйшихъ крабовъ. Янтарнаго цвѣта, величиной съ горошину, икра рыбы «кэты», лососина Дальняго Востока.

Какая-то компанія моряковъ, шатаясь, встала изъ-за стола,—я поспѣшилъ занять освободившійся столикъ.

Кругомъ, въ туманѣ, только и слышалось:

— Пива!

Признакъ, что кругомъ всѣ кутили. Пиво во Владивостокѣ рубль бутылка и напитокъ «шикарный!»

Разговоры... Можно было подумать, что только что кончился урокъ географіи, на которомъ «проходили Азію».

— Командорскіе острова...

— Анадырь...

— Берингово море...

— Камчатка...

Этими географическими именами такъ и швырялись.

— Что васъ давно не видно, Иванъ Ивановичъ?!

— Былъ въ Беринговомъ морѣ.

— А я вотъ ѣду въ Камчатку.

— Прїѣзжаю я въ Анадырь...

Оторопь брала.

— Скверныя слова пришли послушать?

Ко мнѣ подошелъ знакомый владивостокскїй служащїй.

— Какїя скверныя слова?

— Да вотъ: «Анадырь», «Камчатка», «Берингъ». Я ихъ называю скверными словами. Такъ и говорю: «Ты, братъ, при мнѣ скверныхъ словъ не говори! Воняетъ отъ нихъ какой-то рыбой, ворванью воняетъ! Слушаешь, такъ въ холодъ бросаетъ. Бррр! Не люблю! Господи!—думаешь.— Неужели ужъ и Камчатка близко? И о Камчаткѣ даже какъ о чемъ-то обыкновенномъ говорятъ? Цыганскїй потъ хватитъ. Отъ однихъ этихъ словъ запьешь!

Онъ былъ выпивши, и сильно выпивши.

— Можно присѣсть? А я вижу: въ туманѣ, какъ будто, знакомое лицо маячитъ. Пойду, — думаю, — на него. А это вы! Насвистываться пришли?

— Нѣтъ, благодарю васъ! Мнѣ одного господина хотѣлось бы повидать. Или узнать про него. Вы знаете такого-то?

— Василія Петровича? Знаю Василія Петровича. Крестникъ мой!

— Какъ крестникъ?

— У меня съ нимъ вышло. Какъ только онъ пришелъ. По дѣламъ службы являюсь на пароходъ. А Василій Петровичъ мнѣ: «Почему у тебя изъ носа усы растутъ? Въ морду за это хочешь?» Ну, я, конечно... Крестникъ! И онъ меня. Потомъ забылось. Дѣло пьяное.

— Ну, скажите мнѣ, что этотъ Василій Петровичъ теперь?

— Василій Петровичъ? Умный человѣкъ, а дуррakъ! Дуррakъ! А умный человѣкъ! Пропащій человѣкъ!

Онъ махнулъ рукой.

— Пропащій человѣкъ Василій Петровичъ! Совсѣмъ пропащій человѣкъ!

— Пьетъ? — освѣдомился я.

Собесѣдникъ поднялся и окинулъ меня уничтожающимъ взглядомъ съ ногъ до головы.

— Пить — еще это не значитъ быть пропащимъ человѣкомъ!

Онъ повернулся ко мнѣ спиной и, пошатываясь, пошелъ къ своему столу.

Человѣкъ былъ оскорбленъ.

— А! Господинъ писатель! — раздался сзади меня голосъ.

За столомъ около сидѣлъ молодой инженеръ съ манчжурской дороги, съ которымъ я познакомился утромъ.

Мнѣ его рекомендовали такъ:

— Манчжурецъ, никогда не видавшій Манчжуріи. Пріѣхалъ во Владивостокъ, а изъ Владивостока уѣхать не можетъ. Такъ понравилось!

Инженеръ, какъ и всѣ кругомъ, былъ пьянъ.

— Насвистываться пришли? Милости прошу! Къ нашему шалашу! Чеаэкъ! Бой! Полдюжины пива! Водку пили? Не пили? Пейте водку! Потомъ будемъ пиво!

— Постойте! Постойте! Я пришелъ, собственно, про одного знакомаго узнать...

— Знакомаго! Будемъ пить! И знакомый сюда придетъ. Всѣ сюда придутъ! Всѣ! A la votre!

— Вы такого-то знаете?

— Василія Петровича? Какъ не знать! Василій Петровичъ сюда не придетъ! Дуракъ,—и не придетъ! Василій Петровичъ — пропащій человѣкъ!

— Да что онъ? Пьетъ, что ли, сильно?

— Кто?

— Да Василій-то Петровичъ.

— А съ чего вы взяли, что Василій Петровичъ пьетъ? Капли не пьетъ! Василій Петро-

вичъ, — капли! Оттого и погибъ! Пропащій человѣкъ!

— Да что же у него баба, что ли, есть?

Лицо инженера расплылось пьяной, блаженной улыбкой.

Словно кусокъ масла началъ таять и оплывать.

— Баба? Ба-ба? А вы думаете, такъ легко баба! Нѣтъ-съ, батенька, баба! Тутъ прошлымъ лѣтомъ француженка одна пріѣзжала. Изъ Нагасаки. Говорятъ, гувернанткой тамъ была. А можетъ, и горничной. Чортъ ее знаетъ! А здѣсь баронесса, — маркиза. Фью-тю-тю!

Инженеръ засвисталъ и щелкнулъ пальцами.

— Абонементъ на нее былъ. Кому ужинать. Эскадра тутъ стояла. Мнѣ одинъ мичманъ въ карты свой день проигралъ. Въ карты! Въ двухстахъ рубляхъ абонементъ шелъ. Онъ свой абонементъ ставилъ, а я двѣсти рублей. Да и то онъ пьяный игралъ! Потомъ пилъ съ горя! Двѣ недѣли я ждалъ дня. А вы говорите: «баба»!

— Да не француженка! Можетъ-быть, кухарка какая-нибудь его въ лапы забрала, горничная, солдатка!

— И солдатка есть! И солдатка! Акулька есть солдатка!

Инженеръ стукнулъ кулакомъ по столу.

— Акулька! Въ сапожищахъ смазныхъ ходитъ, подлая! Зарабатываетъ столько,—могла бы хоть полсапожки купить. Деньги копитъ! Я ее вторую недѣлю зову пьянствовать вмѣстѣ. Не можетъ! Съ другими пьетъ! Вотъ какая Акулька! А она въ смазныхъ сапогахъ ходитъ!

— Да не про Акульку я. Василія Петровича, Василія Петровича-то не забрала въ руки какая-нибудь баба? Понимаете вы?

— Что вы все врете? Какая у Василія Петровича баба? Что вы мнѣ все путаете? То Василій Петровичъ пьетъ, то у Василія Петровича баба. Что вы за ерунду городите? Никакой у Василія Петровича бабы. Бабы, это не такъ-то легко, батенька! Ничего Василій Петровичъ не пьетъ. Просто погибшій человѣкъ! Погибъ и погибъ! А вы путаете!

— Да отъ чего погибъ? Какъ погибъ?

— Погибъ и погибъ. И чортъ съ нимъ! И ну его къ чорту! И говорить о немъ нечего! Давайте пить!

— Послушайте...

— И больше говорить нечего. Давайте пить. А про Василія Петровича больше и говорить не хочу! Куда жъ вы? Какъ до свиданія? А водка?

IV.

На слѣдующее утро, когда я постучался въ желтую дверь Василія Петровича, перепуганный на всю жизнь парень отворилъ мнѣ ужъ менѣе растерянно.

— Здравія желаю, ваше высокоблагородіе. Такъ что пожалуйте.

Я вошелъ въ небольшую и низенькую комнату.

Когда-то, вѣроятно, была минута, когда хотѣли устроиться по-человѣчески.

Комната была убрана недурно и уютно.

Стѣны обиты японской бумажной матеріей. Полъ обитъ сукномъ. Китайскіе лакированные столики и табуреты.

Но потомъ, очевидно, махнули рукой: на всемъ лежалъ на палецъ слой пыли, на коврѣ валялся всевозможный мусоръ.

На стѣнѣ висѣлъ большой коверъ, увѣшанный оружіемъ. Подъ ковромъ стояла кавказская широкая тахта.

Съ тахты съ трудомъ поднялся при моемъ появленіи человѣкъ съ очень красивымъ, но страшно худымъ, желтымъ, словно изъ старой, пожелтѣвшей кости, выточеннымъ лицомъ. Съ длинной бородой, высокимъ умнымъ лбомъ и длинными, давно не стриженными, въ безпорядкѣ

лежавшими волосами, въ которыхъ путались въ большомъ количествѣ серебряныя нити.

Съ потухшими, глубоко ушедшими глазами.

На видъ этому человѣку было подъ пятьдесятъ.

Когда онъ поднимался, подъ складками обрисовалось худое, изможденное тѣло. Словно платье было надѣто на скелетъ.

Онъ подалъ мнѣ длинную, костлявую, сухую холодную руку.

— Милости прошу... Мнѣ говорили, что вы вчера были... у меня... но я... спалъ... Прошу васъ... садитесь...

И говорилъ онъ съ трудомъ, медленно, словно каждое слово стоило ему огромныхъ усилій и страданій.

— Садитесь...

— Я къ вамъ съ порученіемъ, Василій Петровичъ! — прямо началъ я, съ изумленіемъ, почти со страхомъ глядя на этого «молодого человѣка».

— Съ порученіемъ... Да... Да... Съ порученіемъ... Отъ кого?..

И говорилъ онъ странно: словно самъ съ собой.

Съ нимъ было жутко сидѣть. Онъ производилъ впечатлѣніе человѣка, котораго загипнотизировали.

— Съ порученіемъ отъ Надежды Викторовны!

Онъ посмотрѣлъ на меня долго и пристально. Въ глазахъ его было глубокое удивленіе.

— Отъ кого?

— Отъ Надежды Викторовны, Василій Петровичъ! Вѣдь вы же знаете Надежду Викторовну?

— Нѣтъ, еще... Повторите еще.

— Отъ Надежды Викторовны!

Онъ опустилъ глаза и покачалъ головой.

— Какъ это странно, — сказалъ онъ послѣ нѣкотораго молчанія, словно разсуждая самъ съ собой, — право, какъ странно. Словно это раздается изъ другого міра... изъ другого... Удивительно странно... Удивительно... Вы ее знаете?.. Такъ вы, значитъ, изъ того... изъ Петербурга?..

— Я изъ Одессы. Надежда Викторовна нарочно пріѣхала ко мнѣ, чтобъ попросить передать вамъ ея письмо. Вотъ это письмо. Письмо отъ Надежды Викторовны!..

Я подалъ письмо.

Онъ взялъ его своими длинными сухими пальцами, поднявъ близко къ глазамъ, вѣроятно, близорукимъ, посмотрѣлъ съ большимъ вниманіемъ на надпись на конвертѣ и послѣ долгаго молчанія сказалъ:

— Да, да... Это ея почеркъ... ея... Длинный, тонкій почеркъ... Такой почеркъ называютъ обыкновенно аристократическимъ... Это вѣрно...

Онъ едва замѣтно качалъ головой.

— Это незнаніе и боязнь жизни... Боязнь къ чему-нибудь прикоснуться... Перо боязливо, едва касается бумаги и оставляетъ легкій слѣдъ... Это ея... ея... Эй, убійца!—повысилъ онъ вдругъ голосъ.

Перепуганный на всю жизнь парень появился въ дверяхъ.

— Труб...

Василій Петровичъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ снова упавшимъ голосомъ:

— Не надо... Ничего... Спи...

Перепуганный парень вышелъ.

Василій Петровичъ отложилъ письмо на столикъ около махты.

— Надежда Викторовна, — началъ я снова,— очень удивлена, она огорчена, что не получаетъ отъ васъ отвѣта. Она вамъ писала.

— Да... да...—кивнулъ головой Василій Петровичъ.—Отвѣта не могло быть... конечно... одно письмо, я помню... получилъ... Она пишетъ мнѣ: «до востребованія»... на почту... Она не знаетъ моего адреса... «до востребованія»... Но я не востребовалъ... Одно письмо востребовалъ, а

остальныхъ не востребовалъ... Тамъ ихъ, должно-быть, много лежитъ... Вы пойдете, какъ это называется?.. Ну, какъ?.. Потребуйте... Вамъ дадутъ... Вы ей отвезете... Отвезете...

— Въ жизни Надежды Викторовны произошла большая перемѣна. Надежда Викторовна овдовѣла!

Василій Петровичъ снова посмотрѣлъ на меня съ глубокимъ удивленіемъ:

— Какъ... овдовѣла?..

— Мужъ Надежды Викторовны скончался.

— Максимъ Ивановичъ?

— Я, право, не знаю, какъ его звали.

Василій Петровичъ глубоко задумался, какъ будто стараясь припомнить что-то далекое, далекое.

— Ну, да... конечно, Максимъ Ивановичъ... разумѣется!.. Такъ скончался?.. Очень, очень мило!

Василій Петровичъ покачалъ головой.

— Очень мило! Если бъ я былъ въ Петербургѣ, я бы многимъ сказалъ: «Вотъ достойный примѣръ!» Да...

Я больше не могъ выдержать.

— Василій Петровичъ! Да что съ вами? Что? Простите, что я вмѣшиваюсь въ ваши дѣла...

Онъ смотрѣлъ на меня испуганными глазами.

— Простите. Но Надежда Викторовна мнѣ

все сказала. Все! Прочтите ея письмо. Прочтите, Василій Петровичъ! Вѣдь она измучилась, изстрадалась!.. Пожалѣйте ее...

Василій Петровичъ упалъ на подушки тахты.

— Послѣ... потомъ... потомъ... сейчасъ не могу... Я усталъ... видите... я усталъ... Мнѣ надо... Позовите убійцу... я не въ силахъ... Убійца!..

Онъ дѣлалъ усилія, чтобъ крикнуть:

— Убійца... убійца...

Въ это время въ передней раздался громоподобный стукъ, потомъ разговоръ, и въ комнату словно буря, влетѣлъ всеобщій владивостокскій пріятель, управляющій однимъ изъ пароходствъ.

Человѣкъ, который не ходилъ, а носился какъ ураганъ. Не говорилъ, а оралъ.

— Опять въ прострацiи, чортъ тебя побери?—закричалъ онъ.

— Оставь меня, Терентій Михайлычъ,— простоналъ Василій Петровичъ, — видишь... я не могу... я задыхаюсь...

— Да оставь же, говорятъ тебѣ, чортъ!

— Терентій... Терентій...

— Дохнешь?

Терентій Михайловичъ махнулъ рукой и крикнулъ, словно надо было позвать человѣка съ луны:

— Убивецъ!!!

Въ дверяхъ показался ужъ окончательно перепуганный бѣлобрысый паренъ.

— Барину трубку! Не видишь, анаѳема!?

Онъ съ сожалѣніемъ посмотрѣлъ на лежавшаго, какъ пластъ, на махтѣ и тяжело дышавшаго Василія Петровича и сказалъ мнѣ:

— Идемъ. Теперь начнется.

Въ передней на всю жизнь перепуганный парень метался, приготовляя что-то, зажигая лампочку.

— Идіотъ! Чортъ!—выругался Терентій Михайловичъ, сбѣжавъ съ лѣстницы такъ, что она ходуномъ заходила.

— Да что съ нимъ такое?—спросилъ я.

— А что съ ними такое? Спросите! Моду выдумали? Съ какихъ-то манзъ...

Такъ зовутъ во Владивостокѣ китайцевъ.

— Съ какихъ-то манзъ перенимать! Европейцамъ. Стыдно-съ! Стыдно.

И онъ накинулся на меня такъ, словно я что-то перенималъ у манзъ.

— Есть водка. Пей водку! На то и водка, чтобъ ее пили. Я водку пью,—это понятно! Я съ дѣтства водку пью. Меня въ корпусѣ еще отпустятъ домой,— я сейчасъ первымъ долгомъ—рюмку хлопъ. Съ товарищемъ встрѣчусь,—

рюмку хлопъ! Потому молодечество-съ! Мнѣ скверно-съ,—я водку-съ. Оно и понятно. Я, можетъ-быть, съ человѣкомъ говорить боюсь: «а вдругъ онъ меня продастъ!» Мы всѣ другъ друга боимся,—намъ не пить нельзя. А выпью, мнѣ чортъ не братъ-съ! Кто меня продастъ? Я смѣлъ-съ, когда выпью. Я молодъ-съ. Мнѣ все кажется возможнымъ. Я бы горы сдвинулъ. Я мыслію въ облакахъ ширяю. Я курѣе курицы, а пьяный—орлѣе орла-съ. У меня рабочій пѣтъ—я понимаю. Ему другой жизнью зажить хочется. Двойное существованіе-съ! Трезвый онъ боится, чтобы ему кто по затылку не далъ. А пьяный,—онъ громами повелѣваетъ, околоточному дерзитъ! И всѣ общества трезвости ерунда-съ! Я понимаю-съ! Я самъ поэтому пью-съ!

— Пей! Но это ужъ надо манзамъ оставить!

— Да что это-то? Это-то? Что, Терентій вы Михайловичъ!

— А опіумъ этотъ самый, проклятый куритъ. Завели обыкновеніе. Водки-то имъ мало! Китайцы курятъ,—такъ и имъ нужно. Какіе люди скуриваются! До чего дошло? Мѣсяцъ тому назадъ молодой человѣкъ, 18 лѣтъ, единственный сынъ почтеннѣйшихъ родителей, умеръ-съ,

обкурившись опіемъ. А? Я васъ спрашиваю? У-ухъ!

Терентій Михайловичъ погрозилъ мохнатымъ кулачищемъ.

— Перетопилъ бы всѣхъ манзъ! Въ порту бы перетопилъ! На пушечный выстрѣлъ къ границѣ не подпустилъ бы. Этакую заразу внесли. Словно мстятъ, поганцы, что къ нимъ пришли, на ихъ землѣ поселились. Настоящая зараза-съ! Съ каждымъ годомъ число этихъ самыхъ курякъ растетъ и растетъ! «Скучно здѣсь, тоска беретъ, тошно». Скучно — водку пей. Тошно — водку пей. Кури табакъ. А не опій! Посылаютъ прислугу. Куда? Стыдно сказать! На китайскій базаръ, въ самыя что ни на есть грязныя китайскія курильни опій покупать. Вотъ этого скота видѣли, «убивца-то», Сеньку? Сенька и бѣгаетъ, подлецъ. Говорилъ каторжнику: «Не смѣй барину опій таскать. Окажу протекцію, — опять на Сахалинъ отправятъ. Сгніешь!»—«Помилте,—говоритъ,—ваше высокоблагородіе, какъ же я могу ихъ высокоблагородія да ослушаться? Они меня побьютъ!» Тоже и народъ здѣсь видишь! Тфу! Поневолѣ зачертишь! Вѣдь вотъ Сенька скотина! Этакую тварь постоянно передъ глазами видѣть. Думаете, легко? Да вѣдь отъ лицезрѣнья одного

этакого мерзавца пулю себѣ въ лобъ пустишь. Жизнь у скотины на двѣ половины раздѣлилась: первая — самъ убивалъ, вторая — боится, что его всякій битъ будетъ. Тфу! Мерзость! Подлость! Гадость! Скверный край, что говоритъ. Ну, и пей, потому что край скверный! Но курить! Курить! Этакій человѣкъ, какъ Василій Петровичъ!..

Терентій Михайловичъ круто оборвалъ, свирѣпо на меня посмотрѣвъ:

— Водки вы хотите? Адмиральскій часъ!

— Водка водкой. Но скажите, Терентій Михайловичъ, неужели же нельзя спасти, дѣйствительно, такого человѣка, какъ Василій Петровичъ?

— Отъ опія? Плюньте! Отъ опія не спасаютъ!

Но мнѣ не хотѣлось сдаваться.

— А если есть средство спасти Василія Петровича?

Терентій Михайловичъ посмотрѣлъ прямо, бѣшено и крикнулъ:

— Нѣтъ!!! Пари хотите?!

V.

— У Васъ есть письма до востребованія такому-то? — спрашивалъ я во владивостокской почтовой конторѣ у господина, изукрашеннаго кантами гдѣ только можно.

— Накопилось-съ!

— Вы вѣдь знаете его адресъ?

— Еще бы-съ. Имъ каждый мѣсяцъ изъ Петербурга по триста рублей телеграфомъ высылаютъ-съ.

— Благодарю васъ за эти подробности! Не можете ли послать адресованныя ему письма «до востребованія» по его адресу?

— Гмъ!

Господинъ, изукрашенный желтыми кантами гдѣ только можно, взялся за затылокъ. Словно собирался его ломать надъ заданной задачей.

— Строго-то говоря, оно, пожалуй, врядъ ли можно. Но...

Письма были посланы.

Прошло два дня.

Я получилъ черезъ контору добровольнаго флота телеграмму изъ Петербурга.

Телеграмма была отъ Надежды Викторовны:

«Прочла въ газетахъ о приходѣ вашего парохода во Владивостокъ. Ради Бога, немедля

отвѣчайте: что? Схожу съ ума отъ неизвѣстности. Передайте ему мой сердечный, горячій привѣтъ, полный любви».

Я отправился къ Василію Петровичу.

Бѣлобрысый парень на этотъ разъ съ особенно перепуганнымъ видомъ отворилъ мнѣ дверь:

— Такъ что пожалуйте!

Въ комнатѣ было все такъ же. Только на столикѣ, на тахтѣ лежала масса распечатанныхъ писемъ.

Василій Петровичъ поднялся навстрѣчу мнѣ куда свѣжѣе, бодрѣе.

Онъ улыбался дружеской, веселой, мнѣ показалось, молодой улыбкой.

Въ пожатіи его сухой руки почувствовалась все-таки маленькая сила.

— А я васъ такъ ждалъ!

— Простите, дѣла. Сегодня я получилъ телеграмму отъ Надежды Викторовны.

— Да? Что она пишетъ? Что?

Я передалъ ему телеграмму.

Василій Петровичъ живо перечиталъ ее нѣсколько разъ и смотрѣлъ на нее добрымъ, мягкимъ, нѣжнымъ взглядомъ.

— Милый, милый другъ...

Онъ подалъ мнѣ телеграмму и улыбнулся:

— Я чутъ-чутъ не поцѣловалъ этой телеграммы. Какая неожиданная честь для телеграфиста, который ее писалъ! Я не сообразилъ сгоряча, что писалъ-то телеграфистъ, не она! Я тускло, вяло, туманно, съ трудомъ соображаю. Часто, чтобъ понять самыя простыя вещи, мнѣ приходится дѣлать неимовѣрныя усилія, отъ которыхъ я устаю. Мой мозгъ въ какомъ-то оцѣпенѣніи; чтобъ заставить его чутъ-чутъ шевельнуться, мнѣ словно приходится поворачивать машину, которая стала. Стала и даже заржавѣла. У меня потъ на лбу выступаетъ отъ усилія!.. Послѣдствія... Вы знаете, конечно, о моей «дурости», какъ называетъ Геронтій Михайловичъ. Вы, кажется, съ нимъ у меня были?

— Я слышалъ, Василій Петровичъ...

— Но вотъ уже два дня я не «курилъ!»

Василій Петровичъ, улыбаясь, смотрѣлъ на меня.

— Даже «убійца», — такъ мой Сенька самъ себя зоветъ,—изумленъ.

— Кажется, даже особенно перепуганъ?

— Кажется, даже перепуганъ! Два дня! И потребности никакой. Зачѣмъ еще сны, грезы, — съ этими не могу справиться!

Василій Петровичъ съ любовью указалъ на вороха писемъ.

— Это вы распорядились, чтобъ мнѣ прислали?

— Да.

— Благодарю васъ. Нахлынуло на меня! Какая масса воспоминаній. Картинъ. Словно изъ другого міра! Разобраться трудно. Вы знаете, я ихъ читаю утромъ, только что проснувшись, днемъ, вечеромъ. На ночь беру къ себѣ въ постель, на случай — проснусь. У меня идетъ кругомъ голова. Постойте! Разскажите, пожалуйста, все. По порядку. Какъ вы съ ней познакомились? Какъ она выглядитъ? Что говорила? Все! Все! Вы знаете, я смотрю на васъ и вамъ завидую: вы ее видѣли! Правда, смѣшно?

Онъ разсмѣялся.

Такъ странно было слышать эти рѣчи юноши отъ человѣка съ посѣдѣвшими волосами, съ изможденнымъ, пожелтѣвшимъ лицомъ. И смѣялся онъ странно,—такъ смѣются люди, выздоравливающіе отъ тяжелой болѣзни, еще слабые, но радостные отъ возвращенія къ жизни.

— Все, все разсказывайте!

Я разсказалъ ему о знакомствѣ съ Надеждой Викторовной, стараясь не забыть ни одного ея слова.

Онъ слушалъ съ бодрымъ лицомъ, полнымъ нѣжности. Слезы навертывались у него на глазахъ.

И когда я кончилъ, онъ послѣ долгаго молчанія сказалъ съ улыбкой:

— Милый другъ! Она сказала: «Мнѣ кажется, онъ лучше тѣхъ, кто его осуждаетъ». Можетъ-быть, хуже. Вѣроятнѣе всего, такой же точно, какъ они. Но я-то вижу, какая они дрянь, и какъ дрянна ихъ жизнь. Въ этомъ все несчастіе... Петербургъ! Петербурга нѣтъ! Никакого Петербурга на свѣтѣ не существуетъ. Есть нѣсколько Тетюшей, слившихся вмѣстѣ. Есть Тетюши свѣтскіе. Тетюши чиновничьи. Тетюти артистическіе. Тетюши литературные. Сказать: «я живу въ Петербургѣ!» это глупо. Нѣтъ, вы живете въ своихъ Тетюшахъ, вы живете своими Тетюшами. Ихъ интересами, сплетнями, мелочами. Ничто этихъ Тетюшей между собой не связываетъ. Всякіе Тетюши живутъ своею особою жизнью. Своими особыми сплетнями. Говорятъ: «провинція сплетничаетъ». А Петербургъ? Чѣмъ живетъ онъ? Чѣмъ живутъ его Тетюши? Я жилъ въ Тетюшахъ свѣтскихъ. Надо сознаться, очень маленькій въ сущности городъ. Съ очень небольшимъ населеніемъ. Изъ Тетюшей Тетюши! Все одни и тѣ же лица, одни и тѣ же слова, одни и тѣ же поступки. Каждый поставляетъ Тетюшамъ изъ года въ годъ одно и то же. Этотъ интересуетъ сво-

ими кутежами, та — легкомысленнымъ поведенiемъ, тотъ занимаетъ общество тѣмъ, что необыкновенно быстро дѣлаетъ карьеру, про этого разсказываютъ анекдоты объ его ханжествѣ. И каждый долженъ поставлять матерiалъ для соотвѣтствующихъ его репутацiи анекдотовъ. Иначе Тетюши помрутъ со скуки. Я напримѣръ. Я долженъ былъ поставлять для свѣтскихъ Тетюшей эпиграммы, злыя и обидныя остроты. Этого отъ меня ждали. Огромные проигрыши, фантастическiе кутежи, любовныя похожденiя. И если я велъ себя нѣсколько дней прилично, мнѣ даже было совѣстно. Какъ совѣстно поставщику, когда онъ не поставляетъ во-время провизiи. Мнѣ казалось, что всѣ глядятъ на меня съ укоромъ: «Что жъ это ты, братецъ? Долженъ поставлять анекдоты, а не поставляешь? Ничего не дѣлаешь? Кутить долженъ, и не кутишь? И похожденiй нѣтъ? И въ карты не рѣжешься? Долгъ свой забылъ?» И я чувствовалъ, что этотъ нѣмой укоръ, который я читалъ въ глазахъ, основателенъ, справедливъ, и спѣшилъ наверстывать пропущенное. Вознаградить Тетюши за потерянное сторицею. «Не безпокойтесь! — я такъ же безмолвно, глазами, отвѣчалъ на безмолвные укоры. Я вамъ, mesdames et messieurs,

такую штуку выкину,—три дня говорить будете». Три дня для свѣтскихъ Тетюшей много. Свѣтскіе Тетюши аристократичны и заношенныхъ новостей не любятъ. Судите же, что я долженъ былъ вытворять!

— Да зачѣмъ же? Зачѣмъ?

Василій Петровичъ пожалъ плечами.

— Русскій человѣкъ! Русскій человѣкъ—актеръ по натурѣ. Не даромъ нигдѣ нѣтъ такого повальнаго увлеченія сценой. Нигдѣ не валятъ такими толпами въ актеры. Русскій человѣкъ можетъ жить тихо и смирно, когда на него никто не смотритъ. Идетъ русскій человѣкъ по улицѣ, никто на него не глядитъ, — идетъ человѣкъ, какъ человѣкъ. А пусть на него десять человѣкъ смотрѣть станутъ. Сейчасъ онъ пойдетъ, какъ-то такое избоченившись. Или согнется въ три погибели, или руку въ бокъ ни съ того ни съ сего подопретъ. Или физіономію пресерьезную сдѣлаетъ, словно восьмизначное число на семизначное въ умѣ помножаетъ. Или головой вертѣть начнетъ: «Вотъ, молъ, я какой легкомысленный. Мнѣ чортъ не братъ!» А самимъ собой ни за что не останется. Не можетъ! Публика смотритъ! Долженъ онъ общественное вниманіе оправдать? Такъ во всемъ. Служитъ человѣкъ на неза-

мѣтномъ мѣстѣ, дѣлаетъ свое дѣло отлично, тихо, разумно, прелестъ! Назначатъ его на видное мѣсто, что называется, такихъ фортелей сейчасъ понадѣлаетъ—диву дадутся: «что съ нимъ? Чего онъ? Съ чего онъ? Да онъ ли это?» Не можетъ! Смотрятъ на него. Долженъ онъ выкинуть что-нибудь необыкновенное! Вотъ и я, грѣшный. Сколько глазъ на меня смотрѣли, — долженъ былъ я ихъ вниманіе оправдывать? Подлецомъ себя бы чувствовалъ, если бъ не оправдывалъ! Какъ актеръ, который сдѣлалъ полный сборъ. Его смотрѣть собрались. Предвкушаютъ! А онъ играть не будетъ? Залъ, милостивый государь, вдохновляетъ! На меня смотрѣли, и я творилъ. И чѣмъ больше на меня смотрѣли, тѣмъ больше я творилъ. Вотъ и вся моя жизнь!

— Съ вашими способностями то!

— Съ моими способностями! Съ моими способностями! Наши способности предоставимъ оцѣнивать другимъ, чтобъ не впасть въ манію величія. А за мной, кромѣ способности выпивать море шампанскаго, по три ночи напролетъ играть въ карты и имѣть шесть интрижекъ одновременно, — признавалась еще одна способность — остроуміе. Недурно владѣлъ словомъ, могъ владѣть перомъ. Но позвольте васъ спро-

ситъ, куда же мнѣ прикажете свое остроумïе дѣвать? Въ юмористическихъ журналахъ про тещъ «смѣшныя» разсказы писать? Публика хотя ихъ читаетъ невзыскательная, но и той надоѣло. Вы меня извините. Вы—журналистъ. Но вы понимаете, что не въ осужденïе я говорю. Просто картину рисую. Въ газетахъ писать? О чемъ? Изо дня въ день одну и ту же актрису ругать за то, что играла скверно? Знаете, какъ остроумно ни пиши, но самое занятïе-то не остроумное. Скверная актриса въ скверномъ театрѣ скверно сыграла скверную ролъ въ скверной пьесѣ. Почитаешь газеты,—подумаешь, только и горя на Руси, только и несчастïя, только и злобы дня, только и заботы и думы. Прогони скверную актрису,—и писать ни о чемъ не останется. Такъ все обстоитъ превосходно!

— Ну, не журналистика. Зачѣмъ непремѣнно журналистика? Въ журналистику у насъ обыкновенно идутъ люди, которые не нашли себѣ больше никакого дѣла.

— Дѣла? Опытъ-можетъ, службы? Знаете, что такое у насъ «дѣло». Плыветъ по рѣкѣ утопленникъ. А мужички прибрежныхъ деревенъ съ шестами по берегу стоятъ: «Какъ бы его отъ нашей земли отпихнуть, чтобъ мимо насъ проплыло. Пущай къ другому кому пристанетъ!

Другой и возись». Такъ и дѣло. Плыветъ дѣло, а всѣ перья наготовѣ держатъ: «какъ бы отъ него отписаться. Отъ насъ оттолкнуть. Пускай къ другому вѣдомству какому пристанетъ». Такъ стоятъ на берегу и мертвое тѣло отъ себя отпихиватъ,—слуга покорный!

— Но вѣдь находятъ же люди дѣло...

— Вы въ Неаполѣ бывали? — спросилъ меня вдругъ Василій Петровичъ.

— Былъ.

— Лаццарони видѣли? Которые по берегу на пескѣ подъ солнцемъ валяются?

— Видѣлъ!

— Ну, такъ вотъ. Они ракушки жрутъ. Fruti di mare. Такая мерзость, смотрѣть тошно. А они ѣдятъ. По-ихнему это ѣда. А по-моему дрянь. Такъ и здѣсь!.. По-ихнему — дѣло. А по-моему — дрянь!

Василій Петровичъ ожилъ, онъ даже ходилъ по комнатѣ.

— Вотъ я и дѣлалъ съ жизнью то, что могъ. Жегъ ее какъ можно скорѣе.

— Но вѣдь тоска.

— Да-съ. Могу сказать! «Уныло жизнь моя текла, она явилась и зажгла!..» Впрочемъ, что жъ я?..

Василій Петровичъ схватился за голову.

— Такъ разозлился, говоря о Петербургѣ, что ужъ, кажется, и о ней вздумалъ иронически отзываться?! Нѣтъ! Нѣтъ! Не надо этого! Это неправда! Я только себя и чувствовалъ хорошо, когда былъ съ нею. Она лучшее, что было въ моей жизни. Она, ея душа, прекрасная...

— Вотъ что, Василій Петровичъ! Не будемъ же откладывать въ долгій ящикъ! Ѣдемъ вмѣстѣ на телеграфъ, сейчасъ, сію минуту! Обрадуйте ее телеграммой. Оживите. Вѣдь она столько страдала. Вы читали: она съ ума сходитъ отъ неизвѣстности. Вдохните же въ нее жизнь.

Василій Петровичъ взглянулъ на меня съ испугомъ:

— Сейчасъ? Сію минуту?..

— Да, да. Именно сію, сію минуту. Не откладывая ни на секунду.

— Но я столько времени не выходилъ изъ дома... право...

— Идемъ!

Онъ колебался еще нѣсколько секундъ.

— Убійца! Одѣвайтесь!

Облобрысый парень, мнѣ показалось, даже поблѣднѣлъ еще больше, когда мы въ Василіемъ Петровичемъ вдругъ выходили изъ дома.

VI.

— Ну, Геренті́й Михайловичъ, васъ Богъ спасъ!—привѣтствовалъ я черезъ недѣлю бурнаго представителя пароходной компаніи.

— Какъ спасъ? Отъ чего спасъ?

— Что пари я съ вами не держалъ. Помните, насчетъ Василія Петровича?

— Знаю-съ! Слышалъ-съ. Куритъ бросилъ?

— Бросилъ.

— На телеграфъ бѣгаетъ? Телеграммы посылаетъ, телеграммы получаетъ? Всему Владивостоку извѣстно. Задѣло его что-то, задѣло и съ крюка сорвало, на которомъ повѣсился.

— Уѣзжаетъ на-дняхъ.

— Отсюда? Тогда понятно! Даже кто водку пьетъ, и тѣ бросаютъ. Самые пьяницы. Въ радужное оживленіе приходятъ. Не до питья даже. Мѣстечко такое здѣсь хорошенькое! Скажи только человѣку: «уѣдешь отсюда!» такъ онъ какъ угодно исправиться готовъ. Это я въ тюрьмахъ тоже замѣчалъ, когда на Сахалинъ ѣздилъ. Сами увидите! Мерзавецъ, послѣдняя скотина изъ скотинъ, а передъ выходомъ, послѣдніе дни, другой человѣкъ-съ. Обратите вниманіе. Ночей не спитъ отъ радостнаго возбужденія. Чѣмъ время убить не знаетъ. Мѣста себѣ не

находитъ. Такъ и прыгаетъ! Ртутъ, а не мерзавецъ! Болтливость на бестію нападаетъ. Егозитъ! Каждому норовитъ что-нибудь сказать, и непремѣнно что-нибудь пріятное! Мнѣ одинъ смотритель тюрьмы говорилъ: «Вотъ тутъ-то хорошо бестію прихлопнуть. Придрался къ какой ерундѣ,— въ карцеръ, подъ судъ, еще пять лѣтъ каторги! Не торжествуй въ тюрьмѣ!» Вотъ и Василій Петровичъ торжествуетъ! До куренья ли тутъ? Ясно. А впрочемъ, хоть не держалъ пари, — обѣдъ. Зовите Василія Петровича, ѣдимъ. Плачу проигрышъ!

Телеграммы между Владивостокомъ и Петербургомъ летѣли безъ перерыва.

Путаница нѣжностей, вѣроятно, шла неимовѣрная,—Василій Петровичъ едва успѣвалъ отвѣчать на телеграммы въ сотни словъ, которыя сыпались, сыпались изъ Петербурга.

— Такъ, вѣроятно, себя только Лазарь чувствовалъ! Умеръ и вдругъ опять живъ! — говорилъ мнѣ Василій Петровичъ.

Онъ ходилъ веселый, бодрый, радостно возбужденный.

Бѣлобрысый Семенъ имѣлъ видъ испуганный окончательно, растерянный до послѣдней возможности.

— Кажется, у этого бѣдняги послѣ-каторги и всѣ чувства выражаются въ концѣ-концовъ въ одномъ, — въ страхѣ.

— Кажется.

Все было условлено и устроено.

Василій Петровичъ выѣзжалъ изъ Владивостока съ первымъ отходящимъ пароходомъ. Надежда Викторовна выѣзжала изъ Петербурга.

Встрѣтиться они должны были въ Коломбо.

«А дальше?..» мечталъ Василій Петровичъ.

Дня за три до отъѣзда мы разговорились съ Василіемъ Петровичемъ.

— Скажите, какъ началось это несчастье... съ опіумомъ?.. Если для васъ не тяжело это воспоминаніе...

— О, нѣтъ! Теперь я могу говорить объ этомъ спокойно, какъ о кошмарѣ, отъ котораго очнулся совсѣмъ. Видите ли, на пароходѣ я бросилъ пить, безобразничать. Все интересовало меня. И когда я зажилъ настоящимъ, нормальнымъ человѣкомъ,—клянусь вамъ,—въ моей душѣ проснулось желаніе отдать всю душу, всѣ силы, всѣ способности новому молодому краю, въ который я ѣхалъ. Этой новой странѣ, Дальнему Востоку, которую, въ сущности, надо

вѣдь только-только еще создавать изъ небытія. «Тамъ, думалъ я, на новомъ мѣстѣ нужна и полезна работа. Тамъ есть что сдѣлать: можно создать хорошую и счастливую жизнь». Съ этимъ я и ѣхалъ. Но этотъ холодъ, эти унылые берега, эта мерзость, которую я здѣсь увидѣлъ... Да, мерзость! Мы сдѣлали здѣсь еще только первые шаги и ужъ испортили все, разъ навсегда, вконецъ. Здѣсь больше ничто невозможно. Мы колонизаторы! Мы колонизаторы! Во что мы превратили этотъ край! Вѣдь здѣсь, вотъ на этой самой голой плѣши, была тайга, вѣковая, непроходимая тайга. Владивостокскіе старожилы помнятъ: отворяютъ зимой въ казармѣ дверь, а около нея что-то мохнатое. Гора мѣха. Словно въ шубѣ кто-то вывороченной. И эта гора съ испуганнымъ ревомъ поднимается. Медвѣдь. Пришелъ въ стужу въ сѣняхъ погрѣться. А теперь—лѣса кругомъ ни былинки. Первое, что сдѣлали, хищнически свели все кругомъ. Все. Пустыня! Дровъ порядочныхъ во Владивостокѣ не достанешь. Здѣсь была вольная земля,—земля, сколько хочешь. А что сдѣлали? Вы знаете, что вся земля во Владивостокѣ принадлежитъ двумъ фирмамъ: Кунсту и Альберсу и купцу Чурину. И дерутъ они за нее сколько хотятъ. Сколько влѣзетъ,— сколько

даже не влѣзетъ. На квартиры цѣны—приступа нѣтъ. Жизнь мало-мальски сносная невозможна. Порто-франко устроили, а торговля вся въ рукахъ тѣхъ же Кунста-Альберса и Чурина. Все впятеро дороже! По 500 процентовъ дерутъ! Кто же порядочный человѣкъ сюда жить поѣдетъ? И ѣдутъ: или хищники, которымъ надо урвать, ограбить страну, или вотъ такіе, какъ я. Люди, оказавшіеся ни къ чему неспособными, немыслимыми, нетерпимыми въ Европѣ. Какіе-то каторжники, только не совершившіе преступленія. Колонія! Молодой край! Новая жизнь! Новорожденный, около люльки котораго положили трупъ, смрадный, разлагающійся. Этотъ Сахалинъ дышитъ своимъ мерзкимъ, гнилымъ дыханіемъ на Владивостокъ. Городъ переполненъ бывшими сахалинцами. Они являются оттуда развращенные тюрьмой, голодные, отвыкшіе отъ работы. Хорошенькій элементъ для того, чтобъ привить краю европейскую культуру. Здѣсь все уже испорчено вконецъ, дерево посажено гнилое, — не будетъ никогда и ничего!

— Вы черезчуръ мрачно...

— Когда я сидѣлъ въ Петербургѣ, я думалъ объ этомъ краѣ иначе. Первое же впечатлѣніе было такое, что меня охватила безысходная

тоска, жажда забыться. Не видѣть, не сознавать! Вы, можетъ-быть, слышали,—при самомъ приходѣ во Владивостокъ у меня произошелъ скандалъ. Я сказалъ спѣяна какую-то дерзость портовому служащему. Мы подрались. И это меня отрезвило. Конечно, я измолотилъ его, какъ собаку. Но когда я вытрезвился, меня охватило отвращеніе и ужасъ. Да, ужасъ! Ужъ очень хамское происшествіе. Бывали недоразумѣнія, стычки. Но до сихъ поръ приходилось сталкиваться съ людьми равными. Съ людьми, которые могли защищать свое достоинство. Ну, дуэль, что ли. Выходъ порядочный, приличный всегда былъ. А этотъ? Драка — и съ кѣмъ? Что онъ меня къ мировому, что ли, вызоветъ? Меня охватилъ стыдъ, словно я съ животнымъ поступилъ, ни съ того ни съ сего жестоко. Я бросился къ нему извиняться. Я готовъ былъ какъ угодно просить прощеніе. Чѣмъ больше бы я унизился, тѣмъ благороднѣе бы поступилъ. А онъ не далъ мнѣ даже договорить: «Ну, вотъ! Дѣло пьяное! Признаете, что были пьяны? Значитъ, и дѣлу крышка. Желаете, выпьемъ на брудершафтъ? Поживете у насъ, то ли еще увидите! Дѣло обыкновенное!» И среди такихъ людей жить?! Однако, я держался,— ужъ очень происшествіе было для

меня необычайно. Потрясенïе сильно. Вы видѣли мою обстановку? Вѣдь, собственно, мнѣ при моемъ образѣ жизни на голыхъ доскахъ бы валяться. Когда опïуму накуришься, — не все ли равно? А у меня все-таки устроено по-человѣчески. Все-таки жилье, а не логово. Это тогда, въ тотъ перïодъ. Рѣшилъ назло всѣмъ, назло всему житъ по-человѣчески. Устроилъ жилье, книгъ себѣ выписалъ,—здѣсь даже и книги путной не достанешь, надо изъ Европы или изъ Японïи выписывать,—на службу, и то являться сталъ. Къ общему изумленïю. Я вѣдь по-настоящему за чѣмъ-то присматриватъ долженъ. За меня все это помощникъ дѣлаетъ, — несомнѣнно, воръ и, несомнѣнно, воруетъ все. Но тогда я рѣшилъ работатъ самъ. Помню, съ какимъ изумленïемъ всѣ служащïе на меня смотрѣли: «Ты, молъ, чего? Нешто ты за тѣмъ сюда присланъ?» Въ дѣлахъ понятъ ничего нельзя было. Помощникъ только вздыхалъ: «У насъ, Василïй Петровичъ, не Петербургъ,—извините! У насъ такой отчетности быть не можетъ. У насъ надо дѣло дѣлать,—дѣло живое, стоитъ, не терпитъ, а не канцелярскую отчетность одну вести. Мы, Василïй Петровичъ, извините, не чиновники, а пïонеры. Намъ по-петербургски невозможно!» Вижу, нарочно все отъ меня укры-

ваютъ. Не разберусь. Толку отъ меня никакого. Къ общему удовольствію, на службу ходить пересталъ: «Приносите ко мнѣ, что необходимо, для подписи. Помните только двѣ вещи: только то, что необходимо, и старайтесь не подвести меня подъ судъ!» — «Помилуйте, зачѣмъ же-съ!» Какъ вамъ описать тоску безъ дѣла здѣсь? Придешъ въ ресторанъ обѣдать. «А, здравствуйте, Иванъ Ивановичъ! А Владиміръ Владиміровичъ гдѣ?» — «Владиміръ Владиміровичъ ужъ насвистался, въ бильярдную спать пошелъ. Сижу, одинъ теперь насвистываюсь. Вы что? Тоже насвистываться? Давайте насвистываться вмѣстѣ!» Какая тоска на душѣ поднималась, — подумайте. Какое отвращеніе! Приходилось мнѣ слышать, что здѣсь все больше и больше распространяется среди «интеллигенціи»,—какъ они себя тоже называютъ,—куреніе опіума. Но я на это не обращалъ вниманія. Не все ли мнѣ, да и всѣмъ, равно, какъ они погибаютъ! Но однажды, какъ-то, шатаясь по городу, я зашелъ на китайскій базаръ и случайно заглянулъ въ курильню опіума. Грязно, мерзко. На циновкахъ, словно жертвы какой-то катастрофы, валялись скорченныя, скрюченныя тѣла китайцевъ. Лица безсмысленныя, но спокойныя. Глаза стеклянные. Здѣсь было грязно, вонюче,

но здѣсь, въ этомъ скверномъ шалашѣ, жили золотые сны. Какъ сказочная принцесса, которая инкогнито жила въ грязной мазанкѣ нищаго. Меня поразило это. «Вотъ, подумалъ я, единственный способъ для нихъ жить здѣсь. Эти несчастные манзы. Ихъ бьютъ походя. Извозчики, проѣзжая, хлещутъ ихъ кнутами, какъ хлещутъ собакъ, чтобъ не вертѣлись около экипажа. Ихъ обкрадываютъ, обираютъ всѣ, кому не лѣнь. Работая, онъ не знаетъ, что получитъ: плату или по шеѣ. Кто смотритъ здѣсь на манзу, какъ на человѣка? И среди всей этой жизни непосильнаго труда, обидъ, боли, оскорбленій онъ идетъ сюда, за нѣсколько копеекъ накуривается здѣсь и погружается въ Нирвану. Какое счастье!» И вотъ тогда мнѣ пришла мысль: «Это лучшее, что можно дѣлать здѣсь». Забыться такъ, одному, у себя дома, безъ пьянства, безъ грязи, безъ этихъ здѣшнихъ людей,— показалось мнѣ... ну, болѣе аристократичнымъ, что ли! И я началъ медленно, но вѣрно, уходить изъ жизни въ одиночку. Это прекрасно! Какое-то отсутствіе сознанія, странныя грезы, другой міръ...

— Василій Петровичъ! Василій Петровичъ!

— Теперь-то,—весело разсмѣялся онъ,—я могу говорить объ этомъ спокойно. Теперь это кош-

марѣ, который прошелъ. Я проснулся, и въ окно ко мнѣ лѣется яркій солнечный свѣтъ!

Онъ былъ радостенъ и нервенъ, именно какъ человѣкъ, котораго выпускали изъ тюрьмы.

VII.

За два дня до отхода парохода все было готово.

Василій Петровичъ позвалъ «убійцу».

— Ну, братъ, убійца! Уѣзжаю отсюда!

Тотъ смотрѣлъ испуганными глазами.

— Счастливаго пути, ваше высокоблагородіе!

— Спасибо за службу вѣрную, но скверную

— Рады стараться, ваше высокоблагородіе!

— Вотъ тебѣ жалованье. Вотъ въ награду.

— Премного благодарны, ваше высокоблагородіе!

Семенъ бултыхнулся въ ноги.

— Вотъ типъ! — обратился ко мнѣ Василій Петровичъ. — Вставай, вставай! Безъ этихъ твоихъ каторжныхъ штукъ!.. Живая иллюстрація къ нашимъ разговорамъ. Вотъ кто долженъ насаждать европейскую культуру на Дальнемъ Востокѣ.

— Ты долго былъ въ каторгѣ? — спросилъ я у Семена.

— Пять годъ только. Сужденъ на десять. Манифесты шли,—и сбавили сроку.

— За что пошелъ?

— Убивство.

Этотъ ходячій испугъ начиналъ меня интересовать.

— Когда же ты успѣлъ?

«Убійца» помялся, помялся.

— Извѣстно, малолѣтокъ былъ, ваше высокоблагородіе.

— Кого же ты убилъ?

— Старика, односельчанина. Порфиріемъ Семенычемъ звали. Хорошій сусѣдъ былъ,—съ деньгами. Онъ допрежде въ Москвѣ торговалъ, на манеръ купца, но сужденъ. Краденое, стало-быть, скупалъ. Извѣстно, дешево. А потомъ въ свою деревню помирать пріѣхалъ. Бобыль былъ. Общество рѣшило назадъ принять, потому человѣкъ былъ, говорю, денежный. Спряталъ.

— За что же ты его убилъ?

Семенъ посмотрѣлъ на меня просто и съ удивленіемъ:

— Извѣстно, за что. За деньги. За что убиваютъ?!

— Какъ же такъ?

— А такъ. Вдарилъ топоромъ по затылку. Мужикъ осерчалъ, да и померъ. Тяинькина была воля, а я, извѣстно, малолѣтокъ.

— Такъ ты съ отцомъ убивалъ?

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе, съ тяинькой, царство небесное. Только тяинька не убивалъ. Грѣхъ я взялъ, а тяинька — деньги.

— Да съ чего же это? Бѣдные вы были, что ли? Нужда, что ли?

Въ голосѣ Семена послышалась даже обида.

— Зачѣмъ бѣдные! Никакіе не бѣдные. Не хуже другихъ, слава Тѣ, жили. А такъ! Рупь, молъ, не ржа, кошель не ѣстъ. Рупь не гвоздь,— карманъ не поретъ. Тяинька говоритъ: «Чего ему? Все одно останется, — такъ растащатъ. Пущай, по крайности, хоть въ руки деньги попадутъ». Думали такъ: избу новую справимъ, лошадей прикупимъ, землицы хошь въ аренду возьмемъ. Все пойдетъ по-хорошему.

— Какъ же ты согласился на такое дѣло?

— А опять тяинькина воля. Тяинька говоритъ: ежели ужъ такому дѣлу быть, грѣхъ бери ты. Потому сказано: кровь на насъ и на дѣтяхъ нашихъ. Ежели я убью, — все одно на тебѣ кровь будетъ. А ежели ты сдѣлаешь, на мнѣ хошь крови не будетъ». Такъ и сдѣлали. Пришли въ избу ночью. Говорю, бобыль былъ,

никого около себя не держалъ. Я — топоромъ, а тяинька деньги разыскалъ да и отобралъ. Такъ бы и дѣлу конецъ. Кто убилъ?—ищи тамъ. Да насъ, какъ новую избу строить начали, взяли. Неправильно и судили.

— Какъ неправильно? Да вѣдь вы же убили?

— А они почемъ знаютъ, что мы? Свидѣтелей тому не было. Можетъ, и не мы. Кто можетъ доказать? А мы не въ сознаньи. Такъ не въ сознаньи и судились.

— Да вѣдь нашли что? Деньги?

— Что же, что деньги? А можетъ, деньги наши? Нешто на деньгахъ написано, чьи онѣ? Деньги и деньги. Нельзя же всякаго въ каторгу ссылать, у кого деньги!

— Улики, вѣроятно, были!

— Какія же улики, когда ночью. Говорю, никто не видалъ. На судѣ и свидѣтели-то никто не показалъ. Такъ только понапрасну сослали!

— Вещи, можетъ, были окровавленныя?

— Такъ что же, что? Нашли тамъ на тряпкѣ на какой-то кровь. Замыть позабыли. Такъ, можетъ, мы курей рѣзали!

— Ну, это, братъ, шалишь! То куриная кровь, то человѣчья.

— Все одно красная. А подсохнетъ, — бурая будетъ. Почемъ они могутъ знать.

— Адвокатъ-то у васъ былъ?

— Зачѣмъ аввакатъ? Аввоката виноватый беретъ. Чтобъ оправилъ. А мы такъ думали, ежели безъ свидѣтелей, по закону осудитъ невозможно.

— Такъ вамъ по закону казеннаго защитника дать были должны.

— Защитникъ былъ, а аввоката не наймали. Въ замокъ пріѣзжалъ: «я, молъ, вашъ защитникъ. Скажите, какъ на духу». Ладно, молъ, пой! Ишь попъ какой выискался. Ничего не признались!

— На судѣ-то онъ говорилъ?

— Балакалъ, что не слѣдуетъ. Все снисхожденія просилъ. «Снисхожденія,—часть,—снисхожденія!» А намъ никакого снисхожденія не дали: они,— говорятъ,— убили.

— Умеръ отецъ-то у тебя?

— Извѣстно, померъ. Легко ли. Въ замкѣ сиди, иди куда не слѣдуетъ. А тамъ въ деревнѣ изба новая недостроена, да изба старая, да службы всѣ какъ слѣдуетъ, да лошадей три, да корова съ телкой, да свиньи, да овецъ...

— Иди, братъ, иди!— махнулъ ему рукой Василій Петровичъ.—И это насадители культуры на далекой окраинѣ! Ядро, изъ котораго должно

разрастись населенïе! Скорѣй бы, скорѣй отсюда! Забыть бы все это, какъ скверный сонъ.

Василïй Петровичъ схватился за голову.

— Телеграмма, ваше высокоблагородïе! — появился снова съ испуганнымъ видомъ «убïйца».

Василïй Петровичъ схватилъ телеграмму:

— Она выѣхала въ Одессу. Черезъ четыре дня отходитъ ея пароходъ. Милая, милая...

Онъ зашатался и упалъ на тахту.

— Какъ я слабъ!.. Какъ я слабъ! — говорилъ онъ, улыбаясь виноватой улыбкой.

VIII.

Наступилъ канунъ отъѣзда.

Часа въ два мы съ Терентïемъ Михайловичемъ отправились, чтобы взять Василïя Петровича на прощальный обѣдъ.

— Не держалъ пари, но проигралъ-съ! Платить—такъ платить! — говорилъ дорогой Терентïй Михайловичъ. — За превосходнаго человѣка радъ-съ. Превосходный человѣкъ-съ Василïй Петровичъ, хоть мы его и не видѣли. Наша судьба-съ здѣсь такая. Дрянь мы видимъ. Дрянь каждую минуту-съ. Дрянь у всѣхъ на глазахъ. Хищничаетъ! А прïѣдетъ хорошïй человѣкъ, —

ежели семейный, заперши сидитъ-съ. Отo всѣхъ запершись! А ежели одинокій, — либо убѣжитъ, либо сопьется, либо съ собой кончитъ. Городъ самоубійствъ-съ. Нигдѣ столько самоубійствъ не случается! И съ человѣкомъ, который изъ этакой трущобы вырывается, съ особой охотой выпью. Съ особой!

Когда бурный морякъ по обыкновенію энергично стукнулъ въ желтую дверь, — она отворилась сама.

Дверь была не заперта. Въ передней никого.

— Василій Петровичъ, вы дома? — крикнулъ Терентій Михайловичъ.

Въ отвѣтъ ни звука.

Мы отворили дверь въ комнату Василія Петровича.

Онъ лежалъ на тахтѣ.

— Дрыхнетъ! Не угодно ли?—загремѣлъ Терентій Михайловичъ.—Василій Петровичъ! Вставай! Пароходъ отходитъ!

Василій Петровичъ не двигался.

Мы бросились къ тахтѣ.

Онъ лежалъ, вытянувшись, босикомъ. Пальцы ногъ и рукъ были сведены. Лицо восковое. Глаза совершенно стеклянные и широко открыты.

— Умеръ! — вскрикнулъ я, пораженный, какъ громомъ.

Но Терентій Михайловичъ поднялъ съ тахты трубку, изъ которой курятъ опіумъ.

— Накурился!

На столѣ стояла погасшая спиртовая лампочка.

— Вотъ! Чего жъ этотъ анаѳема, убивецъ, смотрѣлъ! Онъ гдѣ?

Я кинулся вслѣдъ за Терентіемъ Михайловичемъ въ комнату Семена.

Семенъ стоялъ, наклонившись надъ укладкой. Онъ такъ былъ занятъ чѣмъ-то, что не слыхалъ даже, какъ мы вошли.

— Ты что!?

Терентій Михайловичъ сгребъ его за шиворотъ, и я услышалъ отчаянный крикъ, словно человѣка разбивали.

Семенъ колотился всѣмъ тѣломъ. Изъ рукъ его посыпались деньги.

Лицо его было полно и ужаса и злобы невѣроятной.

— Анаѳема!—заревѣлъ Терентій Михайловичъ, заглянувъ въ укладку. — Смотрите-ка! Смотрите!

Въ укладкѣ, оклеенной лубочными картинами и рисунками, вырѣзанными изъ иллюстрированныхъ журналовъ, въ коробкѣ изъ-подъ табаку

лежали бумажки, жестяная коробочка изъ-подъ монпасье была полна золотомъ.

— Нѣтъ, вы полюбуйтесь! Полюбуйтесь! — взвылъ Терентій Михайловичъ. —Англійскіе «фунты»! Вчера еще я намѣнялъ для Василія Петровича.

Онъ «шваркнулъ» Семена объ полъ, такъ что у злосчастнаго «убійцы» кости хрустнули.

— Правду сейчасъ говори, мерзавецъ, чистую правду! Нарочно барину курево подсовывалъ, чтобъ обворовывать было удобнѣе? Нарочно? Я тебя спрашиваю? Тебя?

Терентій Михайловичъ наступалъ съ кулаками. «Убійца» пятился.

Но на лицѣ его не было ужъ ни испуга ни ужаса. Была написана только злоба нестерпимая.

— Сами требовали. Мнѣ какое дѣло?

— Обкрадывалъ, подлецъ? А? На Сахалинъ опять захотѣлось? На Сахалинъ, поселенческая твоя душа? На кобылѣ давно не лежалъ? Лозъ не принималъ? Спустятъ шкуру! Будешь на Сахалинѣ! Отправятъ обратно. Слово тебѣ даю честное,—отправятъ! Сгнѣешь на кобылѣ!

— Что жъ и на Сахалинѣ люди живутъ, ежели съ деньгами!—въ упоръ кинулъ «убійца» Терентію Михайловичу.

Отъ отчаянія его охватила наглость.

— Вотъ! Полюбуйтесь на эту каторжную харю! Полюбуйтесь! А, голубчикъ, «съ деньгами»! А, миленькій, «съ деньгами»! Идіотъ проклятый! Ворованныя деньги тебѣ отдадутъ? Да? Нѣтъ, братъ, деньги у тебя отберутъ! Отберутъ, голубчикъ! Отберутъ, красавецъ, каторжная твоя душа!

— Которы отберутъ, которы не найдутъ!— съ отчаяніемъ и подперши вдругъ руки въ боки, крикнулъ Семенъ.—Ищи! Припрятаны!

— Припрятаны?!

Терентій Михайловичъ поднялъ кулаки надъ головой и ринулся на Семена.

Семенъ упалъ на колѣни и закрылъ лицо руками.

— Ваше высокоблагородіе!..

Я бросился за докторомъ.

Сбѣгая съ лѣстницы, я слышалъ только отчаянные вопли:

— Ваше... не бейте... Ваше... не бейте...

Докторъ, котораго я привезъ, осмотрѣлъ Василія Петровича, лежавшаго, какъ окоченѣвшій.

— Обычное отравленіе опіемъ. Накурился.

Докторъ выслушалъ сердце:

— Сердце—дрянь. Что-то ужъ слишкомъ

— Онъ не курилъ передъ этимъ долго.

— Ну, оттого. Очнется. Только ужъ отравленïе-то больно сильно.

Терентïй Михайловичъ ходилъ по комнатѣ красный, отдуваясь.

— А гдѣ Семенъ?

— Лежитъ, ракаллïя. У себя. Связанъ. Да вы не ходите туда. Все одно, — не узнаете.

— Какъ не узнаю?

— А я его по-владивостокски. Они на то идутъ, каторжныя души. Ежели въ чемъ попался, — до полусмерти.

— Терентïй Михайловичъ!

— Тутъ, батенька, права такïя. Или онъ меня, или я его. Ничего, будетъ однимъ меньше, — новыхъ изъ Россïи пришлютъ. Да останется живъ! Я за полицïей послалъ. Сейчасъ раба Божïя въ тюрьму. А тамъ и на островъ — не умѣлъ на материкѣ житъ! Расправа съ ихнимъ братомъ, поселенцемъ, короткая! Вотъ это ему штука. А битье — что! Руки о нихъ обобьешь. Привыкли! Твердую морду имѣютъ. Выдѣланы!

По лѣстницѣ раздались шаги.

— А вотъ и полицïя!

IX.

— Васъ Василій Петровичъ къ себѣ просятъ,— явился ко мнѣ посланный на слѣдующій день рано утромъ.

Перемѣна, которая произошла съ Василіемъ Петровичемъ, была ужасна.

На тахтѣ лежалъ снова тотъ же желтый, безсильный, старый человѣкъ, какого я засталъ въ первый разъ.

Глаза погасли.

На лицѣ была написана тоска, предсмертная тоска.

— Простите, что я васъ все безпокою... Въ послѣдній разъ... — сказалъ онъ слабымъ, гаснущимъ голосомъ, здороваясь со мною.

— Василій Петровичъ, сегодня отъѣздъ...

Онъ словно не слыхалъ.

— Вотъ двѣ телеграммы. Вы будете такъ добры ихъ отправить. Одна къ теткѣ. Радость болтлива. Надежда Викторовна, вѣроятно, проговорилась въ Петербургѣ. Пошелъ звонъ. Я успокоиваю милую тетю, что остаюсь здѣсь. Похороненъ! Пустъ не безпокоится и высылаетъ деньги. Поцѣлуевъ не надо. А то она каждый разъ телеграфируетъ: «Деньги перевела. Цѣлую». Я ей тутъ пишу: «Деньги переводите,

поцѣлуи—не стоитъ». Глупо телеграфировать, что она кого-то тамъ цѣлуетъ! Не правда ли? Надѣ... Надеждѣ Викторовнѣ телеграфируйте срочно. Мы тутъ только и соединены со всѣмъ остальнымъ свѣтомъ, что тонкой телеграфной проволокой. Да и то часто рвется. Телеграфируйте срочно, чтобъ телеграмма успѣла застать ее въ Одессѣ. Чтобъ она не выѣзжала.

— Василій Петровичъ, это ее убьетъ!

На лицѣ его отразилась боль. Онъ пожалъ плечами.

— Когда человѣкъ умираетъ... Это не значитъ, что онъ умираетъ, а просто для него умираетъ весь міръ. Въ этомъ и вся смерть!

— Василій Петровичъ! Сегодня отъѣздъ. Пароходъ уходитъ въ два часа. Одно усилїе воли— и все! Вы сядете на пароходъ — и весь недугъ вашъ конченъ самъ собой!

Онъ посмотрѣлъ на меня погасшимъ и страдальческимъ взглядомъ.

— Поздно

— Василій Петровичъ...

— Поздно. И знаете, кто мнѣ это сказалъ? Семенъ! И сказалъ правду. Вы хотите знать, какъ это случилось? Когда сваливается несчастїе, — люди всегда первымъ долгомъ хотятъ знать: «Какъ это случилось?» Хотя зачѣмъ

бы это? Человѣкъ умеръ, — не все ли равно какъ? Его нѣтъ, это—все, остальное не интересно. Но я, извольте, готовъ разсказать вамъ, какъ «все это случилось». Всѣ дни, пока шелъ этотъ обмѣнъ телеграммъ, я былъ въ напряженномъ состоянiи. Я не могъ спать, но чувствовалъ себя страшно бодрымъ. Такъ за карточнымъ столомъ, когда идетъ крупная игра, не замѣчаешь даже, что вторыя сутки не ложился. Я не думалъ объ опiи, потому что не могъ думать ни о чемъ. Но вотъ кончилось. Она выѣзжаетъ изъ Петербурга, я — отсюда. И наступилъ сразу вдругъ страшный упадокъ силъ. Въ тотъ вечеръ, когда вы ушли отъ меня, я лежалъ совершенно безсильный, весь разбитый. Словно откуда-то съ крыши свалился. Не могъ двинуть ни рукою ни ногою. И ко мнѣ вошелъ Семенъ. Съ трубкой, съ лампочкой. Знаете, какая у него была рожа? Серьезная, необыкновенно вдумчивая, почти торжественная. Испуга никакого! «Покурили бы, ваше высокоблагородiе». Я былъ изумленъ. «Ты знаешь, что я не курю».— «Такъ-съ!» Онъ постоялъ, помолчалъ. Но не думалъ уходить. «Эхъ, баринъ! Эхъ, ваше высокоблагородiе!» Онъ вздохнулъ, и вздохнулъ тяжко. «Жалко мнѣ васъ. Что вы затѣяли? Успокоились вы было, кончили со всѣмъ,—те-

перъ опять на страду идете. Опять на прежній свѣтъ, на новыя мученія. У меня дѣдушка былъ, царство небесное. Къ смерти, какъ надо быть, приготовился. И гробъ себѣ сколотилъ. Подъ крышей гробъ стоялъ. Сидѣлъ себѣ, грѣлся на солнышкѣ и смерти ждалъ. Схватило дѣда что-то. Онъ рубаху чистую одѣть велѣлъ, свѣчку зажегъ, въ руки взялъ и подъ образа легъ. Молится и смерти ждетъ. А тутъ, какъ на грѣхъ, нелегкая доктора и нанеси. Проѣзжая, въ нашу избу зачѣмъ-то зашелъ. Увидѣлъ дѣда подъ образами, сдѣлалъ ему что-то и опять дѣда оживилъ. Шибко дѣдъ ругался». — «Чего жъ ругался?» спрашиваю. «А какъ не ругаться? Заругаешься! «Я, гыть, тамъ ужъ былъ, ужъ былъ, идѣ же ни болѣзней, ни печалей, ни воздыханія. На порогѣ стоялъ. А онъ, дуракъ ученый, за шиворотъ меня взялъ да назадъ отволокъ,—опять иди съ золовкой ругайся. Не дуракъ?» — «Шибче прежняго дѣдушка жизнью маялся». — «Ну, — говорю,—тутъ другое дѣло! Тутъ новая жизнь пойдетъ. Ступай!» Не уходитъ Семенъ. Вздыхаетъ. «Какатака нова жизнь? Жизнь завсегда жизнь. Ежели вы прежде, ваше высокоблагородіе, молодой да въ силахъ, съ жизнью справиться не могли, — гдѣ жъ теперь-то вамъ? Вы на себя посмотрите!

Хилому да больному!» И знаете, эта мысль меня поразила. Посмотрѣлъ я на себя. Конечно, я крикнулъ на Семена «вонъ!» Не могъ же я отъ мужика, отъ дурака, который и убиваетъ-то не разсуждая, «тяинька приказали», не могъ я, — я, образованный, развитой, умный человѣкъ,—совѣтовъ принимать. Гдѣ жъ была гордость-то, гордость образованнаго человѣка передъ невѣждой, интеллигента передъ хамомъ? Конечно, я его выгналъ. Но черезъ пять минутъ назадъ позвалъ: «убійца!» И приказалъ,— я приказалъ, — «дай трубку!» Вы знаете, онъ обрадовался. Онъ не смѣлъ словомъ, знакомъ выразить свою радость,—эта перепуганная, забитая мерзость,—но въ глазахъ, но въ дрожаніи рукъ, но въ суетѣ, съ которой онъ принялся готовить трубку, во всемъ сквозила, изо всего сочилась радость. Какъ нѣжно онъ меня приподнялъ,—я былъ очень слабъ,—право, такой нѣжности ко мнѣ я не видалъ въ жизни. Я чувствовалъ себя ребенкомъ, безпомощнымъ, безсильнымъ на рукахъ у богатыря. Семенъ — богатырь! Я ребенокъ! Забавно? Вы знаете, я его боялся, когда онъ говорилъ со мной. Онъ казался мнѣ дьяволомъ. Смѣйтесь! Мнѣ было страшно. Мнѣ казалось, что дьяволъ пришелъ ко мнѣ и стоитъ передо мной съ бѣлобрысыми

волосами и безцвѣтными, словно стертые пятиалтынные, глазами и ведетъ страшную, но умную рѣчь. И онъ былъ правъ!

— Василій Петровичъ...

— Онъ былъ правъ. Если будете писать Надеждѣ Викторовнѣ,—напишите ей все. Прямо и откровенно. Поздно! Что я собирался ей дать? Она ждала своего Васю, молодого, здороваго, сильнаго, полнаго жизни. Спутника молодости, чтобы съ нимъ прожить радостную жизнь. А что бы слѣзло передъ ней въ Коломбо? Сѣдой человѣкъ, изможденный, жалкій, больной! Къ которому нужно долго присматриваться: «Кажется, это онъ!» Вы думали когда-нибудь надъ Троянской войной?—неожиданно спросилъ Василій Петровичъ.

— Ахъ, до Троянской ли войны...

— А я много смѣялся еще въ дѣтствѣ. Менелай восвалъ. Десять лѣтъ ждалъ. Быть-можетъ, оставался даже вѣренъ. Мечталъ о «прекрасной» Еленѣ, о прекрасной! И вотъ Троя взята. Изъ города вышла толстая, старая женщина. Гречанки вѣдь быстро старѣютъ, толстѣютъ. У нихъ какъ-то вырастаетъ носъ. Съ огромнымъ носомъ, покрытымъ черненькими дырочками. Съ отвислымъ бюстомъ. Съ волосами, пробивающимися на подбородкѣ. И повисла на

шеѣ: «О! мой супругъ! Я твоя супруга!» Елена, вѣроятно, прибавила еще: «Вѣрная супруга». Онѣ всегда говорятъ — «вѣрная». Вотъ былъ самый ужасный эпизодъ войны! Воевать за красавицу и завоевать урода!

— Какъ у васъ хватаетъ еще желанія шутить!

— Слезы — принадлежность жизни. А жизнь осталась позади. Напишите же ей все откровенно и подробно. Я не хочу обманываться и посылать въ Коломбо трупъ... Ахъ вотъ еще...— вдругъ забезпокоился Василій Петровичъ, — вы ради Бога сдѣлайте это. Вы предупредите, чтобы она не вздумала пріѣзжать сюда! У меня мало воли, но чтобъ кончить съ собой тогда, хватитъ. Я даю вамъ мое честное слово. Честное слово, которое я всегда держалъ! Я кончу съ собой. Я не хочу лазарета, не хочу превращать ее въ сестру милосердія. И я кончу съ собой, если она пріѣдетъ сюда. Все кончено. Передайте ей мой послѣдній, прощальный привѣтъ. И прощайте. Вы послѣдній, съ кѣмъ я говорю. Послѣдній человѣкъ въ моей жизни. Прощайте. Дайте же мнѣ вашу руку. И идите. Я усталъ, и мнѣ надо курить.

— Да, вотъ еще, — остановилъ онъ меня, — одна просьба. Терентій Михайловичъ отправилъ

«убійцу» въ полицію. Попросите, чтобъ его вернули ко мнѣ. Я никакихъ претензій къ нему не имѣю, кромѣ одной: пустъ служитъ у меня попрежнему. Я знаю, что онъ мерзавецъ. Но я ужъ привыкъ къ нему. Зачѣмъ же въ концѣ жизни доставлять еще одну непріятность: заставлять меня привыкать къ новому мерзавцу?.. Прощайте...

Какъ затворялась за мной дверь,—мнѣ показалось, что это захлопывалась крышка гроба.

Въ два часа надъ городомъ пронесся обычный прощальный привѣтъ, — три гудка парохода, на которомъ долженъ былъ уѣхать Василій Петровичъ.

— Ну-съ, — обратился ко мнѣ Терентій Михайловичъ, съ которымъ мы стояли рядомъ на пристани, — идемъ въ «Тихій океанъ». Вы проиграли и платите за обѣдъ.

Обѣдъ былъ печальный.

— Пейте, однако!—разсердился Терентій Михайловичъ. — На погостѣ житъ, о покойникахъ не наплачешься. Въ концѣ-концовъ Василій Петровичъ, чортъ побери, правъ. Какъ медвѣдь стоитъ передъ нами Дальній Востокъ. Какъ медвѣдь, вышедшій изъ вѣковой тайги, котораго мы побезпокоили. Мы не знаемъ, какъ за него взятся. Мы хотимъ его сломать, онъ ломаетъ насъ.

Однихъ больше, другихъ меньше. Но всѣ выходятъ отсюда изломанными. Василій Петровичъ изломанъ вконецъ. И правъ онъ. Правъ! Куда онъ годится теперь? Такой-то! Куда пойдетъ бороться въ жизни, весь изломанный?

X.

Прошло три года.

Я жилъ въ Болье, на берегу теплаго и ласковаго Средиземнаго моря, отдыхалъ, ничего не дѣлалъ, любовался, «какъ солнце пурпурное погружается въ море лазурное».

Знакомыхъ не было, — и меня очень удивило, когда, вернувшись съ прогулки, я нашелъ дома записку.

— Принесла горничная съ виллы такой-то!

«Мнѣ очень хотѣлось бы васъ видѣть. Я дома всегда. Буду благодарна, если зайдете».

Записка была отъ Надежды Викторовны.

Она жила въ небольшой хорошенькой виллѣ, утопавшей въ зелени и цвѣтущихъ кустахъ пышныхъ махровыхъ розъ.

«Очевидно, утѣшилась. И слава Богу!»

— Madame сейчасъ выйдетъ!—попросила меня подождать на террасѣ горничная-француженка.

Сначала я услыхалъ тяжелый, удушливый кашель, а затѣмъ въ дверяхъ появилась молодая женщина въ глубокомъ траурѣ.

Съ желтымъ, словно восковымъ лицомъ, съ глубоко-ввалившимися, погасшими глазами.

Мнѣ вспомнилось лицо Василія Петровича.

— Вы меня не узнаете?

— Какъ, помилуйте...

Надежда Викторовна слабо улыбнулась и привѣтливо протянула мнѣ руку,—блѣдную, исхудалую, высохшую, безсильную.

Кости, обтянутыя кожей.

— Садитесь, прошу васъ. Извините, что я васъ побезпокоила. Я видѣла васъ, когда вы проходили мимо нашего дома. Послала узнать, гдѣ вы живете, и вотъ... побезпокоила...

— Я очень радъ...

— Я вѣдь еще васъ даже не поблагодарила... Какъ это странно, право! Я видѣла васъ всего одинъ разъ въ жизни, а вы сыграли въ моей жизни такую большую, такую большую роль. Какъ странно все въ жизни... Да... Я васъ такъ и не поблагодарила за вашу телеграмму. Вы меня тогда, въ Одессѣ, чуть не убили. Но это ничего не значитъ. Благодарю васъ за то, что вы написали всю правду. У меня цѣло и ваше письмо. Я иногда его перечитываю Такъ трудно

порвать съ прошлымъ. Все хочется пойти на кладбище. Перечитывать ваше письмо,—это я называю про себя: «сходить на кладбище».

— Перестанемъ говорить, Надежда Викторовна, если это все еще такъ больно...

— Нѣтъ, ничего! Это—боль глухая, гдѣ-то далеко, на самомъ днѣ, на самомъ днѣ души. А, въ общемъ, я умираю ничего себѣ. Тихо, спокойно. Доживаю здѣсь свои дни. Ихъ немного. У меня ничего теперь не осталось общаго съ прежнимъ. Я никому не пишу, мнѣ не пишетъ никто. Мое состоянїе все переведено въ деньги и лежитъ здѣсь во франкахъ, во французскомъ банкѣ. Въ Россїи у меня теперь не осталось никакихъ дѣлъ. Я не вижу никогда никого изъ русскихъ. И если я вспоминаю о Россїи, — мнѣ вспоминается пережитое тамъ горе. Я даже думаю по-французски! — улыбнулась Надежда Викторовна. — Ну, это ужъ особенность нашего такъ называемаго, «свѣтскаго» воспитанїя. Первый языкъ, который я узнала, былъ французскїй. По-русски я начала учиться ужъ позже. У меня съ дѣтства привычка думать по-французски. И теперь мнѣ все труднѣе и труднѣе переводить мои мысли по-русски. Есть ли жизнь болѣе исковерканная, чѣмъ моя? Тогда, въ Одессѣ, когда я получила вату телеграмму: «не вы-

ѣзжайте», первою моею мыслію было — самоубійство. Почему я не кончила съ собой? Ужъ очень за себя было обидно. За что я должна казнить себя смертью? Мужъ, который не сумѣлъ вызвать къ себѣ ничего, кромѣ отвращенія, у жены-ребенка! Родные находятъ невозможнымъ терпѣть поведеніе Василія Петровича и ссылаютъ его на край свѣта. Василій Петровичъ находитъ Владивостокъ ужаснымъ и куритъ опіумъ. И за все это должна гибнуть моя жизнь! За все должна страдать я! Ужасно сложились общія условія,—и маленькая, частная жизнь коверкается, ломается среди нихъ, какъ щепка, попавшая въ огромное мельничное колесо Нѣтъ, обидно, обидно было казнить себя за грѣхи другихъ! Но отчаяніе было слишкомъ велико.

— Вы слишкомъ возмущаетесь, Надежда Викторовна...

— Ничего. Мнѣ самой хочется «побродить по кладбищу», по кладбищу моихъ воспоминаній. Отчаяніе, горе было слишкомъ велико. Мнѣ пришла въ голову мысль — кончить съ собой такъ же, какъ кончаетъ Василій Петровичъ тамъ, на Дальнемъ Востокѣ. Но вѣдь не могла же я курить опіумъ! Здѣсь, въ Европейской Россіи! Свѣтская женщина! И вотъ тогда мнѣ

въ первый разъ бросилось въ глаза,—какая масса у насъ морфинистокъ, эѳироманокъ, кокаинистокъ. Какая масса людей въ такомъ же положеніи, какъ я. Непосильно страдаютъ отъ тоски и невозможности устроить сносно свою жизнь. Я остановилась на кокаинѣ. Ничто не дѣйствуетъ такъ разрушительно. Ничто не губитъ такъ быстро, ужасно... Но онъ даетъ какое-то отупѣніе,—не думаешь. И потому—счастье. Не думая — можно жить. Я сдѣлалась завзятою кокаинисткой. Моя чахотка — слѣдствіе кокаина. Какъ удивительно складывается жизнь! Одни ищутъ забвенія въ водкѣ, другіе курятъ опіумъ, впрыскиваютъ морфій, ѣдятъ кокаинъ. И мнѣ представляется, что всѣ вопятъ одно: «Забвенья! Забвенья! Забвенья!»

— Ну, Надежда Викторовна!..

— Можетъ-быть, я ошибаюсь. Не знаю. Не знаю. Я передаю только мое впечатлѣніе. Здоровье было разрушено быстро,—чахотка развилась въ какихъ-нибудь полтора года. И я убѣжала сюда, на югъ, потому что мнѣ было страшно, холодно умирать среди чужихъ, всѣмъ сердцемъ, всею душой чужихъ мнѣ людей, которые звали меня на «ты», говорили о родствѣ и безпокоились о моемъ здоровьѣ.

— Вы не пробовали искать утѣшенія въ религіи?

— Утѣшенія въ религіи мы, интеллигентные люди, начинаемъ искать только наканунѣ смерти. И я нашла его здѣсь, въ католичествѣ.

— Вы предпочли католичество? Почему?

— Католичество я приняла такъ. Когда я пріѣхала сюда, я очень плакала. Плакала и прямо отъ физической боли, плакала и оттого, что доктора здѣсь первымъ долгомъ отняли мое «единственное утѣшеніе» — кокаинъ. Хозяйка дачи, которую я снимаю, какъ-то сказала мнѣ: «Сударыня! Вы, должно-быть, очень страдаете. И страдаете не однимъ тѣломъ, но и душой. Простите меня, — у васъ, должно-быть, какое-нибудь горе. И тяжелое горе. Почему бы вамъ не побесѣдовать съ отцомъ Жакомъ, здѣшнимъ кюре? Вы не католичка,—но это ничего не значитъ. Бесѣда съ умнымъ, образованнымъ, много на своемъ вѣку видѣвшимъ человѣкомъ,—развѣ кому-нибудь можетъ повредить? Отецъ Жакъ умѣетъ какъ-то бесѣдовать такъ, что на душѣ становится легче. Онъ посѣщаетъ тутъ очень многихъ,—въ томъ числѣ и русскихъ. Хотите, я ему скажу, — и онъ будетъ такъ любезенъ, зайдетъ». Я согласилась. Мы, женщины,—лгуньи,

которыя не могутъ расти сами по себѣ, однѣ. Мы должны виться около другого растенія. Мы должны съ кѣмъ-нибудь дѣлиться нашимъ горемъ. Я согласилась. Отецъ Жакъ былъ добръ и зашелъ. Онъ выслушалъ меня съ интересомъ, съ участіемъ. Онъ сказалъ мнѣ: «Все, что происходитъ съ вами, ужасно. И было бы еще ужаснѣе, если бы мы не знали того, что, къ счастію, знаемъ. Есть рай, есть адъ — и есть чистилище. Чистилище, въ которомъ мы должны страданіемъ искупить все, чтобъ быть достойными свѣтлаго рая. Однихъ эшо чистилище ждетъ тамъ — за гробомъ. Другимъ оно посылается здѣсь. Вотъ что такое — то, что мы зовемъ незаслуженными страданіями. Они тяжки, но они легче. Страданія здѣсь и страданія тамъ,—какая разница, дитя мое. Жизнь здѣсь— года, тамъ—вѣчность. Минута страданія здѣсь тянется все-таки только шестьдесятъ секундъ. Тамъ минута — тысячи лѣтъ!» И вы знаете, когда онъ ушелъ,—мнѣ стало легче. Мои незаслуженныя страданія показались мнѣ все-таки имѣющими цѣль, значеніе. Я чувствовала потребность, чтобъ меня въ этомъ убѣдили, чтобы я въ это повѣрила, — тогда мнѣ легче будетъ сносить. Бесѣды съ отцомъ Жакомъ, стали для меня необходимостью. Я бесѣдовала

бесѣдовала... И вотъ какъ я, въ концѣ-концовъ, перешла въ католичество.

Мы помолчали.

— А вы не знаете, что съ Василіемъ Петровичемъ?— спросилъ я.

— Ничего не знаю!—совершенно спокойно отвѣтила мнѣ Надежда Викторовна.— Отецъ Жакъ говоритъ мнѣ: «Дитя мое, вы медленно и спокойно умираете. Вы уноситесь въ другой, лучшій міръ. Къ чему же привязывать себя къ этому міру какими-то нитками, которыя все равно оборвутся?» Нѣтъ, я ничего не знаю о Василіи Петровичѣ. Я ничего и не стараюсь о немъ узнать. Я уношусь въ другой міръ... А вотъ и отецъ Жакъ.

На террасу входилъ пожилой человѣкъ съ бритымъ, очень умнымъ, интеллигентнымъ лицомъ.

Несмотря на сутану, онъ казался очень свѣтскимъ человѣкомъ.

Онъ поцѣловалъ руку у Надежды Викторовны, и при взглядѣ на меня у него скользнуло только легкое недоумѣніе и удивленіе.

Надежда Викторовна насъ познакомила.

— Это тотъ господинъ, которому я дала порученіе во Владивостокъ. Онъ былъ такъ добръ. Вы помните, я вамъ разсказывала...

— Ну, какъ же! Какъ же! — очень живо воскликнулъ отецъ Жакъ.

Онъ крѣпко и дружески пожалъ мнѣ руку и заглянулъ въ глаза съ живѣйшей симпатіей.

— Monsieur былъ на Дальнемъ Востокѣ?

Въ то время разыгрывались какъ разъ китайскія событія.

Отецъ Жакъ принялся передавать послѣднія новости объ осадѣ посольствъ, о гибели миссіонеровъ.

— Какой подвигъ! Какой подвигъ быть миссіонеромъ!—умилялась и ужасалась Надежда Викторовна во время красиваго и живописнаго разсказа отца Жака.

— Безъ подвига жизнь безцѣльна! — съ улыбкой отвѣчалъ отецъ Жакъ.—Одни сами ищутъ страданій, къ другимъ Небо болѣе милостиво и само посылаетъ имъ страданія, чтобъ они могли совершить подвигъ, перенося ихъ.

И онъ наклонился, чтобъ тепло и словно съ благоговѣніемъ поцѣловать руку Надежды Викторовны.

Среди этой бесѣды, и свѣтской, и политической, и душеспасительной въ одно и то же время, отецъ Жакъ улучилъ минуту, чтобъ сказать Надеждѣ Викторовнѣ нѣсколько какихъ-то словъ вполголоса.

— Ахъ, да, да! — слышалъ я, отвѣтила она ему.

И черезъ нѣсколько минутъ, при первой паузѣ въ разговорѣ, обратилась ко мнѣ:

— Ахъ, кстати! Я совсѣмъ забыла! Хорошо, что вспомнила! Вѣдь я вамъ должна еще деньги за телеграммы. Скажите, сколько я вамъ должна?

Я всталъ.

— О, пустяки! Вы просто передадите эти деньги отцу Жаку на его бѣдныхъ. Вотъ и все!

— Madame распоряжается своими средствами для добрыхъ цѣлей такъ, какъ она хочетъ,— очень сухо отвѣтилъ отецъ Жакъ.

Надежда Викторовна простилась со мной съ ледяной холодностью.

Отецъ Жакъ очень любезно.

И въ его живыхъ и умныхъ глазахъ, мнѣ показалось, я прочелъ сквозь любезность:

«Что, братъ? Не появишься здѣсь послѣ этого? А?»

Конечно, я больше не появлялся.

XI.

— Ну, и черти, батенька, эти владивостокцы!..— къ слову сказалъ мнѣ какъ-то капитанъ Добровольнаго флота, пріѣхавшій въ Петербургъ. — Чортъ ихъ знаетъ, что у нихъ тамъ дѣлается!

— А что?

— Да и не поймешь! Слыхали, чтобъ сумасшедшіе на службѣ были? А у нихъ сумасшедшіе служатъ! Со мной какой случай былъ! Меня разъ какъ подвели! Чортъ знаетъ. Вамъ, во Владивостокѣ бывши, не случалось ли часомъ встрѣчаться съ Василіемъ Петровичемъ?..

Онъ назвалъ фамилію.

— Ну, какъ же! Ради Бога! Разскажите! Что съ нимъ?

— Исторія у меня съ нимъ вышла. Чортъ знаетъ какая! Едва не утопился! Только во Владивостокѣ и возможно. Отхожу я изъ Владивостока. Говорятъ: «Съ вами вотъ такой-то пойдетъ, Василій Петровичъ. Служитъ здѣсь на постройкѣ желѣзной дороги. Теперь ѣдетъ для поправки здоровья въ отпускъ». Ну, очень радъ! Интеллигентный пассажиръ идетъ. Въ дорогѣ пріятно. Пріѣзжаетъ на пароходъ этотъ

Василій Петровичъ съ провожатыми. Кости да кожа. Этакій странный, знаете, господинъ. Я назвалъ свою фамилію. Онъ посмотрѣлъ на меня оловянными глазами: «Какъ?» Ну, думаю, пьянъ! Все честь честью. Провожающіе въ столовой шампанское пили, «ура» кричали, тосты провозглашали. И онъ съ ними сидѣлъ. Снялись передъ вечеромъ. Только ночью будятъ меня. Что такое? Скандалъ! «Пассажиръ Василій Петровичъ въ каютѣ все бьютъ!» Побѣжалъ. Сидитъ человѣкъ на койкѣ. Лицо какъ у мертвеца, глаза безсмысленные. Увидалъ меня: «Убійцы,—кричитъ,—трубку!»—«Что вы,—говорю,—успокойтесь! Какіе убійцы?» А онъ какъ вскочитъ, да за горло меня! «Убійца! Трубку! Сейчасъ трубку! Умираю! Трубку!» Скелетъ, скелетъ,—а отъ припадка, должно-быть, сила! Горло какъ желѣзомъ сдавилъ. Высвободили меня отъ него, приказалъ—связали. Бьется, на губахъ пѣна, глаза изъ орбитъ вылазятъ. «Трубку!» хрипитъ. «Ну,—думаю,—бѣлая горячка!» Являюсь къ нему въ каюту наутро. Развязали ужъ, опять на койкѣ сидитъ и съ удивленіемъ на меня смотритъ. Словно въ первый разъ видитъ. «Не можете ли,—говоритъ,—вы мнѣ сказать, какъ меня зовутъ?»—«Какъ, какъ зовутъ?»—«А такъ,—говоритъ,—

что я такое? Кто я такой? Гдѣ я? Почему я? Стараюсь припомнить, — ничего не могу!» Послалъ къ нему доктора. Хохолъ у васъ на пароходѣ докторъ былъ, славный малый. Приходитъ. «Ну, что съ нимъ такое?» — «А це бисъ его знае, що такое? Хиба я знаю!» — «Да вѣдь ты же докторъ!» — «А колы бъ я не одинъ разъ докторъ, а семъ разовъ докторомъ былъ, що я могу сказать, коли чиловикъ, яко его зовутъ, даже забувъ!..» — «Бѣлая горячка?» — «Нѣ, не похоже на бѣлу горячку!» Пошелъ опять къ пассажиру. «Посмотримъ!» думаю. Разсказалъ ему, какъ его зовутъ, кто онъ такой, откуда, куда, зачѣмъ ѣдетъ. Слушаетъ, смотрю, съ большимъ интересомъ. Словно въ первый разъ слышитъ. «Благодарю васъ!— говоритъ. — Это все совершенно вѣрно, что вы говорите. Я и самъ теперь припоминаю. Да, да! Дѣйствительно, такъ!» И такъ это говоритъ серьезно, вдумчиво, спокойно. «Тфу ты,— думаю,— чортъ! Да что онъ дурака, что ли, ломаетъ?» — «Вы бы, говорю, прошли на палубу, обвѣтрились!» — «И это, — говоритъ, — вѣрно. Пойду!» Пошелъ, гуляетъ честь честью. Вдругъ, слышу, на кормѣ вопли: «Держи! Держи!» Луплю туда. Двое въ него вцѣпились, а онъ на борту верхомъ сидитъ, отъ нихъ въ море рвется. Лицо опять безум-

ное. И оретъ: «Трубку, а то въ море». Выскочили изъ кубрика матросы. Сволокли, вязать начали, а онъ только одно и оретъ: «На Сахалинъ опять пошлю, убійца! Трубку, проклятый!» Снесли его въ каюту. Доктора позвали. Я потомъ прихожу. Лежитъ, оретъ: «На Сахалинъ, мерзавецъ, сгнѣешь!» Это на меня-то. «Испуганная,—говоритъ,—твоя харя!» Выходимъ съ докторомъ. «Ну, что, спрашиваю, докторъ, скажешь?» — «А що жъ, — говоритъ,— я сказать могу, колы винъ безумный!» — «Какъ безумный?» — «Такъ, безумный! Съ ума спятилъ! Какъ безумные бываютъ!» Я за голову схватился. «Ахъ, подлецы! Сумасшедшаго мнѣ на пароходъ спихнули. И не сказали, — знаютъ, что у меня всѣ сумасшедшія каюты полны!»

— Какія сумасшедшія каюты?

— А на всѣхъ почти пароходахъ Добровольнаго флота теперь на кормѣ сумасшедшія каюты устроены. Мягкимъ внутри обиты. Сумасшедшихъ изъ Владивостока возитъ. Каждый рейсъ каюты всѣ заняты. Такъ съ ума сходятъ,— увозить не поспѣваешь. Такъ они знали, что у меня сумасшедшія каюты всѣ заняты. Взяли мнѣ сумасшедшаго за здороваго и подсунули. Ну, и побились мы съ нимъ въ пассажирскихъ каютахъ. Я ужъ потомъ, въ слѣдующій рейсъ, съ

нимъ лаялся. «Свидѣтельствовать, — говорю,— теперь васъ, чертей, изъ Владивостока, буду!» Смѣются: «Онъ ужъ у насъ давно такой былъ! Куда его дѣть? Выписали въ отпускъ, да и отправили! Дѣлайся какъ знаешь!» Нѣтъ-съ, вы мнѣ вотъ что скажите! Человѣкъ «давно сумасшедшій», а на службѣ состоитъ. Порядки-то тамъ, порядки-то каковы?

— Ну, а Василій Петровичъ что?

— Что! Просидѣлъ рейсъ въ каютѣ взаперти. Потомъ-то онъ стихъ, лежитъ идіотъ-идіотомъ, ничего не понимаетъ. Бредитъ иногда: «Убійца»... трубки проситъ.

— А не вспоминалъ ли онъ въ бреду, не припомните ли, имени женскаго?.. Надежды Викторовны?..

— Какія тамъ имена! Онъ и какъ его зовутъ не помнилъ. Только и слышно отъ него было: «Убійца», да «трубка», да «на Сахалинъ опять пойдешь». Грозился! Дашь ѣсть — ѣстъ. Не дашь — лежитъ, не проситъ. Прямо въ животное безсловесное обратился. Я потомъ и другихъ такихъ видѣлъ. Отъ опіума дѣлается. Курятъ.

— А потомъ что съ Василіемъ Петровичемъ сдѣлалось?

— Что сдѣлалось? Пришли въ Одессу, — полиціи съ рукъ на руки сдали. А полиція его въ сумасшедшій домъ.

— Гдѣ жъ онъ теперь?

— Слышалъ, сидитъ въ сумасшедшемъ домѣ въ Одессѣ.

МК-285658

КП-2
Л

сн
енпе
каго воош

UNIVERSITY OF N.C. AT CHAPEL HILL
00034975457